

5 РУССКАЯ РЕЧЬ 1980

СЕНТЯБРЬ Научно-популярный журнал Института рус-
ОКТАБРЬ ского языка Академии наук СССР • Основан
в 1967 году • Выходит 6 раз в год • Изда-
тельство «Наука» • Москва

В номере:

Н. М. Шанский. Новые слова советской эпохи	3
--	---

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

К 110-летию со дня рождения И. А. Бунина

Л. А. Качаева. Мастер живописания природы	10
В. С. Сидорев. «Пищу русским языком»	17

К 100-летию со дня рождения А. А. Блока

Е. Н. Этерлей. Заметки о языке Александра Блока	20
Л. А. Новиков. Андрей Белый — художник слова (о языке прозы писателя)	27
Н. Г. Михайловская. «Чудо соприкосновения»	36

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Из ранних стихов И. А. Бунина	43
---	----

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Л. И. Скворцов. О культуре речи молодежи	49
Е. Г. Борисова. Современный молодежный жаргон	51
Н. И. Формановская. Речевой этикет. Обращение к знакомому	55

БЕСЕДЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ф. П. Сороколетов. Словари русского языка	60
---	----

ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Р. А. Будагов. Словарь эпитетов русского литера- турного языка	67
---	----

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Г. Ф. Кузьмина. Истоки разговорной речи	73
С. А. Полковникова. «Идучи в школу, встретился я с приятелем» (из истории деепричастия)	80

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ	
Абрам Борисович Шапиро (1890—1966)	86
Сергей Иванович Ожегов (1900—1964)	90
В ИНСТИТУТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР	
СРЕДИ КНИГ	
В. Л. Воронцова. Русское литературное ударение XVIII—XX вв.	83
КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ	
В. В. Колесов. «Слово о Мамаевом побоище»	97
С. И. Котков. Деловая письменность и литературный язык	105
Е. С. Отин. Топонимия поля Куликова. Непрядва	113
НА КАРТЕ РОДИНЫ	
По Золотому кольцу России	
М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский. Загорск и Радонеж	116
НАША МОСКВА	
Ю. А. Федосюк. Бульварное кольцо	125
ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ	
А. А. Брагина. Антоновские яблоки	133
В. Г. Радунский. Сувенир	138
И. Г. Добродомов. Подче(и)гарый (поджарый)	142
В. А. Филатов. Гриб боровик	146
В. А. Никонов. Из словаря русских фамилий	
ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»	
Объект — объективный, объектный, объектовый; Кован(н)ый, жеван(н)ый; Сардины из сельди иваси; <i>Севац, сеятель или сеяльщик?</i>	153
Кроссворд	
152	
<i>На обложке: И. А. Бунин. Рисунок Ю. Космынина</i>	



НОВЫЕ СЛОВА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

За годы Советской власти произошли огромные изменения в политической, экономической и культурной жизни нашей страны. Бурное развитие социалистического производства, невиданные темпы развития науки и техники, небывалый расцвет культуры и искусства — все это не могло не отразиться на русском языке, который стал после образования СССР языком межнационального общения советского народа. Нельзя сказать, что в русском языке тоже произошла революция, но он пережил после Октября глубокую и многоплановую перестройку. Это сказалось, прежде всего, в исчезновении одних и появлении других слов и фразеологизмов, а также их отдельных значений. Разительные перемены видны в употреблении и сфере применения слов и выражений, в сочетаемости их с другими словами и оборотами и т. п. Наиболее заметный процесс, который происходит в современном русском литературном языке, — это стремительное обогащение его лексики.

■ Слова, рожденные Октябрем... Прямо и непосредственно, как в языковом зеркале, они отражают историю нашего народа после революции, его беспримерный подвиг в строительстве нового общества. Возникшие в результате появления в советской действительности новых предметов и понятий, они являются ярким и своеобразным свидетель-

ством наших побед и достижений, языковыми знаками знаменательных фактов и событий послеоктябрьской эпохи. В них мгновенно отражается все, чем в данный момент живет советский человек, чего он достиг, о чем думает, как к тому или иному общественному факту относится. Полный список слов, появившихся в русском языке после Октябрьской революции, лингвистической службой еще не составлен. Но и сейчас можно сказать, что он огромен.

Появление новых слов в языке неслучайно. Каждое из них имеет свою биографию. В 2 часа 10 минут ночи 26 октября (8 ноября) 1917 года буржуазное Временное правительство было низложено. II Всероссийский съезд Советов избирает первое Советское правительство во главе с В. И. Лениным, и в русском языке из сочетания *Совет Народных Комиссаров* появляется сложносокращенное слово *Совнарком*.

В феврале 1918 года создается Красная Армия, и на базе сочетания *Красная Армия* рождается новое существительное *красноармеец*.

В мае 1919 года в русском языке родилось слово *субботник*. Оно неразрывно связано с тем, что метко и образно было названо В. И. Лениным великим почином, с ростками социалистической трудовой дисциплины, началом коммунистического отношения к труду. Шел второй год гражданской войны. Рабочие и крестьяне под руководством Коммунистической партии отстаивали завоевания революции, проявляя невиданный героизм как на фронте, так и в тылу. Коммунисты и сочувствующие на Московско-Казанской железной дороге 7 мая постановили ввести коммунистическую субботу до полной победы над Колчаком. 10 мая они провели первый в истории *коммунистический субботник*. Их примеру последовали другие заводы, фабрики и т. д. Сначала такие мероприятия называли *коммунистической субботой*. Но 20 мая на страницах газеты «Правда» уже появилось существительное *субботник*. Оно-то и стало с тех пор основным названием любой добровольной бесплатной работы какого-либо коллектива для выполнения того или иного общественного полезного трудового задания. Такие работы производились первоначально по субботам. Когда их стали выполнять и в воскресенье, тогда — по аналогии со словом *субботник* — возникло также слово *воскресник*.

Смелый ленинский план коллективизации мелкого сельского хозяйства нашей страны как одной из важнейших

Предпосылкой перехода к социализму вызывает к жизни слова *колхоз*, *совхоз* и *коллективизация*. У В. И. Ленина они встречаются уже в его речи на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 года.

Ласковое слово *октябренок*, без которого сейчас нельзя даже представить себе нашего языка, придумали... ребята. Редкий случай, но было это именно так. Этот детский неологизм прочно вошел в лексику современного русского литературного языка и стал одним из наиболее употребительных существительных. Появилось слово *октябренок* в конце 1923 года, когда при пионерских отрядах стали создаваться группы младших школьников. Назвать их *октябрятами* — в честь Октября — предложили тогда московские пионеры. С тех пор и носят октябрята это славное имя: *вот октябренок* буквально — дитя Октября.

31 августа 1935 года забойщик А. Г. Стаханов на шахте «Центральная-Ирмино» (Донбасс) рекордной добычей угля положил начало новому этапу социалистического соревнования — *стахановскому движению*. Соответственно появились в русском языке слова *стахановец*, *стахановский*, *по-стахановски*.

В Великую Отечественную войну на вооружении нашей Армии появляются реактивные минометы, представляющие собой многозарядные пусковые установки на специальных грузовиках. Они помогали пехоте громить фашистских захватчиков, и наши бойцы любовно называли их *катюшами*.

В 1959 году в Ленинграде был спущен на воду ледокол «Денин», машины которого работают на атомной энергии. Рядом со словами *пароход*, *теплоход*, *электроход* (два последних также родились в советскую эпоху) появилось слово *атомоход*.

В 1970 году в Ленинграде открывается первый в нашей стране универсальный магазин самообслуживания. Вскоре после этого русский язык пополнился еще одним повседневным сложносокращенным существительным *универсам*. В газете «Известия» (20 марта 1971) мы читаем: «Универсам... Еще не так давно это слово было незнакомо покупателю. Сейчас оно становится привычным. Три таких магазина уже действуют в Ленинграде, два открываются в Москве. Строятся универсамы в Волгограде, Сочи, Владивостоке и других городах».

Нет такой сферы нашей жизни, в которой не рождались бы (и почти ежедневно) новые слова. Появляются

новые машины, приборы, устройства, и тут же возникают соответствующие им словесные неологизмы: *датчик, монитор, лазер, ускоритель, кондиционер, кормосмеситель, кофеварка, плазмотрон.*

В различных отраслях промышленности и сельского хозяйства рождаются все новые и новые профессии. А как быть им без имен? И большая лексическая семья профессиональных названий увеличивается еще более за счет новых слов: *экскаваторщик, высотник, монтажник, моторист, автоинспектор.*

Входят в наш повседневный быт кино и телевидение, и в русский словарь широким потоком вливаются «кинематографические» и «телевизионные» слова: *киногерой, кинодокумент, кинокамера, киноконцертный, кинокритика, кинолента, кинолюбитель, кинопанорама, кинополотно, кинопрокатчик, кинорассказ, киношник; телеателье, телебашня, тележурнал, телестудия, телефото, телеочерк, телевещание, телемеханик.*

Все более сложным и разнообразным в своих конкретных формах становится в нашей стране спорт, и это вызывает приток новых слов в русскую спортивную терминологию. вспомните хотя бы названия спортсменов: *аквалангист, гандболист, самбист, пятиборец, одиночник, тяжело-вес, байдарочник, загребной, скалолаз, спартаковец.*

Стремительно строятся города, сразу же появляются их имена и соответствующие названия жителей: *магнитогорцы, гулистанцы, электростальцы, братчане, мирнинцы, дивногорцы* и др.

Углубляются и все более дифференцируются наши знания о природе и обществе, в связи с этим формируются новые науки, а с ними и названия: *геронтология, космохимия, лингводидактика, футурология* и другие.

Примеры различных послеоктябрьских неологизмов в составе современной русской лексики можно приводить без конца. По своей родословной и языковому поведению все они делятся на две большие, хотя и не одинаковые по размеру, группы. Одну группу образуют лексические заимствования из других языков. По своей содержательной сути они являются либо общественно-политическими и научно-техническими терминами, либо бытовыми наименованиями. Сюда относятся такие, например, слова, как *радио, репортаж, специфика, комбайн, кафетерий, комбинезон, метро, сервис, бульдозер, транзистор* и многие им подобные. Особый пласт иноязычной лексики, пришедшей в

русский язык после Октября, составляют слова, усвоенные им из языков различных народов Советского Союза: *хлебобороб, хата-лаборатория, чайхана, арыж, аксакал, тамада* и т. д.

Другую (несравненно бóльшую) группу образуют неологизмы советской эпохи, созданные говорящими на русском языке с помощью того или иного способа словопроизводства. По сравнению с ними новые заимствования — все равно что капля в море. Советские неологизмы русского языка составляют подавляющее большинство лексических новообразований. Именно они в первую очередь придают современной русской лексике особый колорит свежести и новизны, отличающий ее от старого — дореволюционного — словаря. Основная часть таких лексических новообразований — это слова общелитературного и частого употребления, которые в качестве наименований отражают специфические особенности нашей жизни, предметы и явления советской действительности: *райком, перевыполнить, сверхплановый, ударничество, по-комсомольски, агитпункт, общественник, самодеятельность, партбюро, комсорг, сельсовет, всесоюзный, стенгазета* и т. д.

■ Возникает законный вопрос: а как же образуются в современном языке эти новые слова?

Да в основном так же, как они создавались и раньше. Словообразовательный механизм русского языка, сложившийся в течение многих и разных эпох, продолжает в целом действовать и в наши дни. Новые слова и сейчас создаются преимущественно по старым словообразовательным моделям, по образцам, работающим столетия. Именно так, по-старому сделано большинство (тем не менее совершенно новых!) слов советской эпохи, о которых говорились выше.

Прежде всего, конечно, это слова, образованные посредством той или иной разновидности морфологического способа словопроизводства, то есть с помощью суффиксов, приставок, сложения основ и т. д. Вот несколько примеров: *прогнозирование, пылесосить, окупаемость, операторша, шоссейник, юниорка, отреагировать, смоделировать, антимир, неоперативность, полуфиналист, ультрамодный, первостроитель, прилуниться, межзональный, самолечение, отфутболить, соковыжималка.*

Немало в семье новых слов и таких, которые возникли в результате изменения значений. Иногда, между прочим,

пастолько радикального, что образующее слово покидаёт родную часть речи и переходит в другую: *прокол* (нарушение, урон), *развязка* (на автомобильных дорогах), *голосовать* (останавливать проезжающий мимо автотранспорт), *салют* (здравствуй), *правофланговый* (передовик), *скорая* (скорая помощь), *буровая* (буровая вышка), *большая* (плащ), *окно* (перерыв в чем-либо), *махнуться* (поменяться) и т. д.

Надо сказать, однако, что далеко не все новые слова делались по старым образцам. В современном языке во многих случаях словообразование начинает осуществляться и иначе. Слова стали строиться и с помощью таких способов, которые раньше проявлялись очень слабо или их просто не было. Принципиально новые способы словообразования наблюдаются, правда, лишь в сфере имен существительных. Но это ведь самая богатая и важная часть речи. Одним из способов образования новых слов является сложение сокращенных основ.

Сложносокращенные слова в качестве отдельных лексических единиц были известны русскому языку и до революции. В конце XIX века появились слова *эсер*, *кадет*. Вошли в общее употребление во время первой мировой войны *главковерх*, *комбат*, *начдив*, *командарм* и некоторые другие. И тем не менее этот структурный тип слов и соответствующий ему способ словообразования справедливо считается одной из наиболее ярких новинок русской словообразовательной системы советской эпохи. Справедливо потому, что формирование сложносокращенных слов как регулярной и — более того — продуктивной словообразовательной модели произошло, действительно только после Октября. Вспомним такие слова, как *вуз*, *дог*, *загс*, *МХАТ*, *ООН*, *ГЭС*, *ЖЭК*, *ГУМ*, *МГУ*, *ВДНХ*, *ЭВМ*, *ВЦСПС*, *колхоз*, *парторг*, *комсомол*, *прораб*, *главк*, *районо*, *сельпо*, *самбо*, *лавсан* и другие.

Не менее яркое словообразовательное новшество, нежели сложносокращенные слова, представляют собой существительные, образованные путем соединения сокращенной основы прилагательного и полной основы существительного. До революции слова такой структуры можно было сосчитать по пальцам. Наиболее известным из них является существительное *земгусар* (из сочетания *земский гусар*). Теперь в русском языке подобных сложносокращенных слов огромное количество: *стенгазета*, *стройматериалы*, *автозавод*, *профсоюз*, *жилфонд*, *агитпункт*,

эбросвет, медсестра, хозрасчет, техминимум, редколлегия, кубометр и другие.

Послеоктябрьскими по своему возникновению в качестве регулярной и продуктивной модели можно считать словосложения типа «определяемое + определяющее». К подобным образованиям относятся: *город-герой, телефон-автомат, шапка-ушанка, кафе-закусочная, матч-ревани, школа-интернат, концерт-загадка* и т. п. Раньше в нашем языке такое образование существительных было развито очень слабо, хотя прием в целом является очень древним, достаточно вспомнить слова *ковер-самолет* или *скатерть-самобранка*.

Напомню еще об одном способе словообразования существительных, ставшем в наше время весьма заметным и ярким: это — сокращение, или аббревиация. До революции образование существительных сокращением было довольно редким, например: *Питер* (Петербург), *Каспий* (Каспийское море), *унтер* (унтер-офицер), *баки* (бакенбарды) и т. п. В наше время сокращение стало представлять собой специфический способ словообразования. В качестве примеров современных аббревиатур, созданных таким способом, можно привести существительные *спец* (специалист), *домоуправ* (домоуправляющий), *зам* (заместитель), *зав* (заведующий), *Курилы* (Курильские острова), *стационар* (стационарное отделение), *факультатив* (факультативный курс), *рация* (радиостанция), *микробус* (микроравтобус) и т. д.

■ Как видим, в советскую эпоху в русском языке не только родилось и рождается несметное количество новых слов, но и появились новые способы их образования. Наш язык стал неизмеримо богаче и выразительнее. Процессы развития его лексики и словообразования стали в настоящее время предметом пристального внимания ученых. Тщательное исследование этих процессов, с одной стороны, способствует решению фундаментальных проблем лингвистической теории, с другой, позволяет на научной основе решать многие вопросы культуры речи и орфографии, совершенствовать методику преподавания русского языка. Тем самым оно действительно помогает нам более эффективно овладевать русским языком, по-хозяйски заботиться о его правильности и чистоте.

Н. М. ШАНСКИЙ



Замечательный русский писатель Иван Алексеевич Бунин безгранично любил русскую природу, и, кажется, нет такого пейзажа в европейской части России, который не отразился бы в его творчестве, как нет и ни одного времени года, с которым не связал бы он свои произведения, своих героев. «Певцом русских степных просторов, несравненным мастером живописания родной природы» назвал И. А. Бунина советский поэт А. Т. Твардовский. И русская полустепная полоса, и северные леса, и южные степи, и море, и горы, да кроме того, еще пейзажи самых различных стран — от Франции до Египта и Индии — все это под пером Бунина обрело поэтическое осмысление, оказалось изображенным в живой и чувственной конкретности.

Когда говорят о пейзаже в русской литературе, обычно вспоминают прекрасного мастера прозы И. С. Тургенева. Действительно, в тургеневских пейзажах мы любимся переливами света и тени, ощущаем могучую жизнь природы, слышим гул ветра и пение птиц. И. А. Бунин, как и другие писатели, его современники, А. П. Чехов, А. И. Куприн, продолжает тургеневские традиции, однако, в осмыслении природы у каждого есть своя специфика, выразившаяся и в их отношении к природе, и в самой словесной передаче пейзажей. Тургенев и его герои любят природу, ощущая себя сопричастными ее жизни. Герои Чехова просто живут среди природы — не случайно Чехов сравнивает природу с усадьбой: «Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом усадьбу» (Мысли-ть). Поэтому Чехов очень широко и свободно вводит в свои пейзажи бытовые детали. Куприн и его герои наслаждаются природой, представляя ее прекрасной, чарующей, волшебной сказкой. Бунинские пейзажи отличаются тонкостью восприятия окружающего, объединение зрительных, звуковых и обонятельных впечатлений, детализация картин природы и их одухотворенность, одушевленность, а также обязательность связи их с человеком, с его мыслями, чувствами, переживаниями. С одной стороны, для Бунина природа — предмет поклонения и восхищения, и он ее боготворит, с другой, она — живая, реальная, узнаваемая. Ведь писатель долго жил в деревне, среди русской природы, давшей ему массу незабываемых впечатлений. Эти два начала: космичность, чужедадность [Бунин считает, что человеку никогда не постигнуть до конца великого таинства природы] и рельефность, удивительная земная правдоподобность придают особую неповторимость пейзажам Бунина. И еще: пейзажи Бунина в гораздо большей степени одушевлены, чем пейзажи Тургенева, Куприна, Чехова. В них создается «эффект присутствия» человека, потому что, несмотря на недостигаемость природы для людей, жизнь их все-таки не может быть отделена от нее. Такое «объединение несоединимого» достигается у Бунина в результате использования самых разнообразных языковых средств для воплощения картин природы.

Показывая в природе то, что «за пределами познаваемого», Бунин насыщает описания высокой, торжественной лексикой; так появляются у него «бледная завеса мглы», «молчаливая тайна», «гробовая тишина», «мистическое видение» (Туман). Особенно характерны такие языковые

средства для вечерних и ночных пейзажей, где мы видим приглушенные, мягкие краски, нарочитую размытость фона, утопченность восприятия: «Я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи»; «Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом» (Поздней ночью).

Одухотворенность природы, слитность с нею человеческой жизни Бунин сумел показать благодаря использованию метафор, метафорических эпитетов, сравнений, олицетворений. Бунин вообще неисчерпаем в выборе тропов — он буквально насыщал ими язык своих произведений, в частности в пейзажных зарисовках. Поэтому у него месяц печальный, у месяца «кроткое и бледное лицо», он грустит вместе с человеком и успокаивает его в светлом царстве ночи (Поздней ночью); ветер ласков, мягок, лес — молчаливый; озеро тускло и печально (Маленький роман); море «выглядывало из-за кустов и деревьев, оно наполняло своим присутствием всю окрестность», «его свобода и дыхание чувствовалось все время и всюду» (Надежда); березы и сосны «хмурятся, собираясь толпами все плотнее и плотнее» (Новая дорога); сумерки «грустно умирают» (Антоновские яблоки).

Неожиданно-смелы сравнения Бунина, и в то же время они реальные, земные, в них отразились приметы пореформенной России, умирание разоряющихся «дворянских гнезд»: «Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка... Дом обшит тесом., большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет этой крыши и узкая кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея...» (В поле). Бунин приближает при помощи сравнения к человеку и его обыденной жизни самые недосыгаемые явления природы. Поэтому у него «зеленоватые пушистые звезды глядели, как большие светляки», «небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух» (Худая трава), а три поперечных звезды Ориона «низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами» (Игнат). И хотя для Бунина природа — предмет поклонения и обожания, он не может устоять перед тем, чтобы не приблизить ее к человеку чисто бытовыми сравнениями, которые и конкретны, и точны, и в то же время необыкновенно поэтичны: «избы

«*Стояли наохлившись, как куры в непогоду*» (Эпитафия), «тонко пахло сладким ароматом листвы, *поджаренной солищем*» (К роду отцов своих); «Снег на поляне и крыши изб, которые *точно облиты сахаром, алеют*» (Сосны); «Снег, местами атласный, местами *хрупкий, как соль, рассыпчатый* и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге» (Игнат).

Абсолютной точности, полного приближения к жизни добивался Бунин, когда стремился воспроизвести реальную, чувственно воспринимаемую основу окружающей человека природы. Здесь его зрение, слух, обоняние просто поразительны. В бунинских описаниях солнца, неба, моря, леса, полей — щедрость красок, стереоскопическая выпуклость подробностей, филигранное выделение индивидуальных, неповторимых деталей. Здесь Бунин не знает мелочей и частных — для него все важно, все подробности опоэтизированы и органично входят в общую картину.

Бунин насыщает свои пейзажи красками, которые и необыкновенны, и конкретны одновременно. Цвет солнца «*винно-красный*» (Сны Чанга); закатное солнце создает «*пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков*» (Братья); четко рисуются предметы «*на золотой эмали заката*» (Чистый понедельник); облака то «*белоснежными, зевсоподобными* главами встают из-за берез», то оказываются «*свинцовыми, стальными, розовыми, сиреневыми* и даже *смуглыми*. В бунинских пейзажах нераздельны цвет и свет: цвет пронизан светом, и свет окрашен насыщенными тонами, то теплыми — «Сумерки начинают *наливаться тем сказочным оранжево-золотистым светом*, который всегда возникает в тропиках после заката» (Соотечественник); то «*холодными* — «из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады *бело-огненных игл*, вырывались и тотчас уносились в *снежную искристую дорогу*, прокладываемую пароходом, то огромные *голубые звезды*, то какие-то *синие клубы*, которые ярко разрывались и, *угасая*, таинственно *дымились* внутри кипящих водяных бугров *бледно-зеленым фосфором*» (Сны Чанга).

Бунин улавливает оттенки глазами художника. Ведь он сам занимался живописью. Самые различные цветообозначения вводит писатель в свои пейзажи, удивляя чисто живописными подробностями картин: «в окна были видны разнообразные дождевые облака и *неприятная металли-*

ческая лазурь среди лиловатых туч» (Антигона); «Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката».

Бунину словно не хватает чистых красок, и он смело соединяет различные цвета: «зеленовато белеющий восток» (Степа); «красновато желтело вечернее солнце» (Солнечный удар), «равнины спелых ржей розово желтели» (При дороге), «Красновато чернеющий голыми сучьями сад» (Жизнь Арсеньева). Оттенки передаются при объединении и близких, и контрастных цветов: «синее небо голубело», «снежная белизна цветущего сада» (Митина любовь), *лиловая синева, лиловая чернота* (Жизнь Арсеньева). Особое пристрастие питает Бунин к сложным прилагательным, в которых объединяются как синонимические, так и контрастные цветообозначения. Например, «валил и валил сизо-белый снег» (Жизнь Арсеньева), «старые памятники на кладбище зелено-золотисты» (Суходол), «солнце садилось в серо-красные тучи» (Деревня), «густо валили черно-багровым руном клубы дыма» (Поздний час), «розово-янтарное солнце» (Грибок). В сложениях у Бунина соединяются не только цветовые основы: к цветовым прилагательным прикрепляются «отпредметные», что делает характеристики еще более зримыми, вещными: «несется пенно-зеленый горный поток» (Алексей Алексеевич), «бархатно-изумрудные, с коричневым отливом, наросты мха на крыше» (Древний человек), «хрустально-золотая сетка низкого солнца» (Муза).

Особую роль играют в сложениях оценочные прилагательные, которые переводят восприятие цвета в психологический план: «спокойные, нежно-зеленоватые водяные поля» (Надежда), «сумрачно-лиловый запад» (Игнат), *сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек* (Братья), «впереди высоко висят в море два крупных огня, мутно-синий и сумрачно-красный» (Старый порт). Такова же функция эпитетов-наречий, благодаря которым картины природы не только зримы, ощутимы, по-человечески одушевлены, но еще и создают определенное настроение: «лучисто сыпалось червонное золото солнца» (Митина любовь), «за лесом нежно, слабо разлился погожий закат» (Сосед), «сумрачно и величаво дымятся облаками скалистые и снежные вершины гор» (Алексей Алексеевич), «мирно синее море» (Старый порт).

Вместе с цветом и светом в пейзажах Бунина, неотделимо от них, живет вечная музыка природы. Звукопись

писателя связана с изображением дуновения ветра, шеста листвы, гула грозы, рокота моря, тревожных и умиротворенных криков птиц, неумолчного журчания воды. Вот только один пример — описание летнего сада, в котором мы действительно слышим жизнь природы во всем ее многообразии и вечном движении: «Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер, мирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей» (Суходол).

Бунин создает ощущение шума ветра прежде всего за счет звуковой инструментовки, включая в описание слова с аллитерацией на шипящие и свистящие звуки *ш, с, з*: *шелковистый, шелест, испещренный, стволы, широко, раскинутый, шумя, шелестя, резко, радостно, зелено-золотая, обитавшими, вскрикивала, развалившихся, свет, совершая, неспешный, тишина, струящийся, серебристый, листва*. Писатель прибегает и к такому приему, как прямое обозначение звучаний словами одной тематической группы: *шелест, шуметь, шелестеть* и т. д. Способствует созданию эффекта непрерывного звукового изменения состояния природы и ритмо-мелодическая организация речи: очень сложная синтаксическая структура интонационно разбита на отрезки, в которых подъемы звучания сменяются резкими спадами («ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно»), а в самих этих отрезках состоящие из двух слов однородные единства (кстати, вообще очень характерные для синтаксиса Бунина) — «шумя и шелестя», «резко и радостно», «в развалившихся трубах и черных чердаках», «ровный, струящийся» — и дробят, и соединяют структуры, создавая своеобразную ритмическую картину неспокойного движения.

В другом изумительном по красоте описании летнего дня из «Жизни Арсеньева» изображены почти все возмож-

ные человеческие впечатления, слившиеся в единую картину целостного восприятия мира: «Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. ... Мягко тянуло с поля сухью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле, и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо...» Здесь удивительно передано ощущение простора, августовского сухого тепла, ~~не-~~скончаемой жизни леса под легким ветром. И вот что интересно — о ветре прямо не упоминается, но он все время чувствуется: лес «трепетал, струился», слышался его «дремотный», «куда-то бегущий шум». И далее мастерски показано изменение этого шума и самого состояния деревьев; троекратная синонимическая градация создает своеобразную музыку вечного движения: шум «возрастал, усиливался», тень «пестрела, двигалась», солнечные пятна «вспыхивали, сверкали». Еще более незаметно и в то же время неуловимо точно передано движение большого белого облака: для создания ощущения медленного, плавного движения Бунин использует не глаголы движения, а в основном глаголы изменения состояния (*всплывало, круглилось, текло и менялось*), которые взаимодействуют к тому же с обозначениями цвета, света, тепла и покоя в соседних предложениях (*блестел, желтел, тянуло сухью, зноем*).

Так, рельефно, зримо представлял Бунин природу, насыщая свои пейзажи солнцем, ветром, полем, голосами, запахом трав, движением облаков, сиянием «золотой», «розовой», «оранжевой» луны, мерцанием «зеленоватых» и «голубоватых» звезд, шумом вечно непонятого моря. При этом он одухотворял природу, стремясь проникнуть в ее жизнь, слиться с нею, разгадать ее тайны. В своих мастерских описаниях природы И. А. Бунин, говоря словами К. Г. Паустовского, «почти неисчерпаем».

Л. А. КАЧАЕВ

Рисунок С. Гавриловой



« ПИШУ

РУССКИМ

ЯЗЫКОМ »



ТВОРЧЕСТВО Ивана Алексеевича Бунина, русского прозаика и поэта, которое началось в прошлом столетии и продолжалось шесть с половиной десятилетий, никого не оставляет равнодушным. Нас приводит в восхищение бунинская манера повествования. Писатель отличался особым умением раскрывать самые сокровенные тайны родного слова, делать емким его значение. Вместе с тем каждое слово имеет в контексте только определенную долю нагрузки.

Весьма сильны авторские акценты на именах прилагательных. Являясь частями различных синтаксических конструкций, прилагательные приобретают такое смысловое наполнение, которое позволяет представить факты окружающего мира в совершенно новых для нас аспектах.

В прозе И. А. Бунина часто встречаются конструкции с синтаксически неоднородными прилагательными при одном определяемом слове. Эти конструкции включают прилагательное (одно или несколько), относящееся к



словосочетанию, которое, в свою очередь, состоит из прилагательного и существительного: «Звезды огнем горели на *черном чистом небе*» (Птицы небесные) — [шрифтовые выделения всюду в примерах мой.— В. С.]; «*Тихое и солнечное майское утро*» (Жизнь Арсеньева); «...она... говорила, блестя ему в глаза *радостными черноверкальными глазами*» (Руся). Реже употребляет Бунин конструкции, в которых прилагательное раскрывает значение другого прилагательного, непосредственно связанного по смыслу с определяемым словом: «Я опять обонял этот *особый, сладкий и сухой* аромат берегов Турции...» (Крик).

В примерах *черное чистое небо, тихое и солнечное майское утро* значения прилагательных *черное, тихое и солнечное* не приобретают существенных изменений смысла: они направлены на словосочетания *чистое небо, майское утро*. Смысловое взаимодействие между частями имеет место лишь в тех конструкциях, в которых представлены отношения синонимии или антонимии: «И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня *суровой монастырской жизнью...*», «Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, *весенней душистой грозы*» (Святые горы); «... *черной жаркой тьмой* наполнялись леса» (Братья); «*Ночная синяя чернота* неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых» (Смарагд).

В этих конструкциях смысловое взаимодействие частей выражают чаще всего прилагательные (*суровая монастырская жизнь; весенняя душистая гроза*), реже — существительные (*черная жаркая тьма, ночная синяя чернота*). В большинстве конструкций представлены причинно-следственные смысловые отношения, которые нередко поддерживают метафорическое употребление прилагательных: *суровая монастырская жизнь* — жизнь монастырская, поэтому сурова; *весенняя душистая гроза* — гроза душистая, потому что весенняя.

Многие из рассматриваемых конструкций возникли в процессе тщательной авторской работы на страницах печатных, машинописных и рукописных текстов различных произведений. Так, для усиления смыслового звучания



словосочетания писатель включает в него новое прилагательное: «Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным *лунным* светом два белых частых переплета» (Святые), было — «таинственным светом»; «Он преклонялся перед лежащей *деревянной* статуей...» (Братья), было — «перед лежащей статуей»; «Девочкой она ничем не выделялась в толпе *коричневых гимназических* платиц...» (Легкое дыхание), было — «коричневых платиц».

Иногда новое прилагательное уточняет значение словосочетания: «*Бойкий* зимний день, идет снежок, Ильинка чернеет народом...» (Соотечественник), было — «Зимний день». Редки случаи, когда одно из прилагательных заменяется другим: «... она первая входит в рощу, в *длинную* снежную просеку среди мачтовых сосен» (Метеор), было — «в *огромную* снежную просеку».

Если имена прилагательные при одном определяемом слове не вносят существенных изменений в смысл сообщаемого, они, как свидетельствуют различные архивные материалы, писателем устраняются: «И, передвинув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна... мимо *низкорослого* сада...» (Деревня), было — «низкорослого *вишневого* сада»; «В „салоне“ стопудовый кожаный диван, из которого торчат клоки мочалы и горбами выпирают пружины, в простенке *овальное* зеркало...» (Сосед), было — «*дивное* овальное зеркало»; «Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в *большую* барку» (Господин из Сан-Франциско), было — «в *большую покойную* барку».

Как видим, И. А. Бунин отличается удивительным, неповторимым мастерством в отборе и организации языковых средств, на что обращали внимание его современники. Однако восторженные оценки речевых достоинств своих произведений писатель воспринимал весьма сдержанно. А. Т. Твардовский в статье «О Бунине» писал: «Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: „Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?“».

В. С. СИДОРЕЦ
г. Мозырь

«Я — интеллигент, литератор, и оружие моего слова». Так лаконично и точно определил свое назначение Александр Блок — поэт, которого на заре двадцатого века называли совестью России.

Слово — оружие... Вот откуда бескомпромиссная блоковская требовательность к языку и стилю поэзии, его рыцарственно-честное обращение со словом. Фокусничанье, сомнительные словесные эксперименты, нарочитое, показное словотворчество — все это было глубоко чуждо поэту, раз и навсегда выбравшему свой трудный путь в те нелегкие годы, которые переживала Россия. «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души,— утверждал А. Блок,— что опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения формы проникнуть до глубины содержания» (статья «Генрих Ибсен», 1908). Сейчас, по истечении времени, особенно ощутимо, как взыскательно относился Блок к языку, как мучительно и честно искал естественно нужного, неизбежного слова.

В многочисленных рецензиях А. Блока на стихи современных ему поэтов можно найти немало резких замечаний по поводу неряшливого отношения к языку. Он обращает самое пристальное внимание на все языковые неточности и погрешности. Достаточно упомянуть хотя бы о том, что, высоко ценя К. Бальмонта, А. Блок с неподдельным раздражением пишет о «пустом нагромождении слов» в 10-м томе его собрания сочинений, «И так не страницами, а печатными листами... Это — словесный разврат... какое-то отвратительное бесстыдство. И писал это не поэт Бальмонт, а какой-то нахальный декадентский писарь».

«Зачем так безбожно неряшливо относиться к русскому языку?» — пишет А. Блок по поводу книги стихов К. Фофанова «После Голгофы» (статья «Литературный разговор»). Зрелый А. Блок, сам прошедший через искусство декадентства, резко критикует декадентские выверты — вроде «эмалевых минут» и «черных роз» (рецензия на первый сборник стихов И. Анненского). Он упрекает Вячеслава Иванова в излишней «филологической изысканности»: «Такие слова и выражения, как... „молитвенные феории“, ... „сулицы“ — только портят впечатление и оставляют в недоумении читателя, редко знающего, что

К 100-летию
со дня рождения
А. А. Блока



ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

„феория“ значит „созерцание“, а „сулицы“ — „колчан“». В статье «Народ и интеллигенция» А. Блок признавался, что боится «словесности и литературщины».

Зато с каким восторгом откликается он на цикл стихов В. Брюсова «Urbi et orbi», вышедший в издательстве «Скорпион». Этот поэтический сборник А. Блок называл «одной из драгоценнейших книг нашего времени». В большой рецензии, написанной им в мае 1904 года на эту книгу, есть знаменательные строки: «Самые тонкие мучительные вдохновения и мысли переданы простыми и отточенными словами». «Простыми и отточенными словами» — не в этом ли ключ к пониманию языковой требовательности самого А. Блока, всю жизнь искавшего именно таких — простых и отточенных — слов?

Сквозь строки его страстных, честных, окрыленных стихов, таких обжигающе-личных, точно прикасаешься к чьей-то живой обнаженной душе, естественных, как дыхание, нелегко разглядеть этот вечный мучительный поиск единственно нужного, точного слова. Как прикоснуться к живой, пульсирующей ткани его стиха, как путем изучения формы проникнуть до глубины содержания? Думается, что это еще впереди. Пока же ограничимся беглыми заметками о языке Блока на полях его стихов.

1. «ЗОЛОТО НЕПОДДЕЛЬНОЙ ПОЭЗИИ»

«Гений прежде всего — народен», — утверждал А. Блок в рецензии на «Монастырь» Э. Верхарна (1908). Народен ли язык А. Блока — язык поэта, в изысканных стихах воспевшего Прекрасную Даму, создавшего причудливую волшебную вязь «Снежной маски» и «Фаины», поэта, которого символисты готовы были провозгласить своим вождем?

Сам А. Блок поразительно рано осознал свой путь: «Я не с декадентами, я — после них», — вот одно из тех редкостных прозрений, которые, как никому, быть может, были свойственны А. Блоку. Уже в 1905 году он пишет: «Черпать содержание творчества из отвлеченно-бесплотного — значит расстаться с творчеством. Черпать его из самого живого и конкретного — значит углублять и утверждать творчество» (рецензия на книгу Мирэ «Жизнь»). Живое, конкретное содержание требует столь же живой формы. Где же находит поэт конкретное и незамутненное, горячее слово, слово из плоти и крови?

Одним из путей этих творческих поисков А. Блока был язык народной поэзии. Об этом А. Блок сам сказал в рецензии на книгу М. Пришвина «У стен града невидимого»: «М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей «показной» и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало того, он умеет показать, что богатый словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатства русского языка еще далеко не исчерпаны».

Черпал из народного словаря и А. Блок. Иные из его стихов вообще близки русской народной песне («Как прощались, страстно клялись», «В этот серый летний вечер», «Гармоника, гармоника» и др.).

В 20-е годы, создавая «Портреты русских писателей», И. Эренбург охарактеризовал душевное состояние А. Блока необычайно «блоковским» словом — *огневица*: «Блока она [Россия.— Е. Э.] познала в великой огневице». Между тем сам поэт употребил его лишь однажды: Блок хорошо знал цену редкому, неожиданному слову и потому, должно быть, избегал повторений.

История появления слова *огневица* в поэзии А. Блока чрезвычайно интересна, поскольку в данном случае поэт сам точно указал его истоки.

В октябре 1906 года А. Блок работал над очерком для «Истории русской литературы», вышедшей под редакцией Е. Аничкова и Д. Овсяннико-Куликовского. В связи с этой работой он с увлечением читал сборники народных песен и былин, причитания, старинные травники, тексты народных заговоров. Именно эти последние, по-видимому, особенно заинтересовали поэта: по крайней мере, по прошествии года, он упоминает в рецензии на сборник стихов К. Бальмонта о том, что заговоры ему «приходилось изучать подробно».

В обширной статье для «Истории русской литературы», вышедшей под названием «Поэзия заговоров и заклинаний», А. Блок приходит к знаменательному выводу: «Заговоры, а с ними и вся область народной поэзии и обрядности оказались той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии». Из этой-то золотой руды народной поэзии возникла и блоковская *огневица*. Этим словом в народе издавна обозначают болезни, для которых характерен внутренний жар и озноб, лишающий человека сил, отнимающий волю: лихорадку, горячку, антонов огонь. Именем Огневицы звалась одна из сестер-лихорадок, дочерей Ирода. Слово *огневица* давно известно в русской художественной литературе: «Ой ты... Никак огневица. Заговаривается» (Шишков. Алые сугробы); «Я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу» (Куприн. Олесья); «На Мораве один магнат старый, чубатый, увидал ее [Радду] и остолбенел. Сидит на коне и смочит, дрожа, как в огневице» (Горький. Макар Чудра).

Широко использовали это слово и поэты — современники А. Блока:

Ты пятую ночь в огневице

Лежишь на одре роковом.

Брюсов. Фабричная

Заболела огневицей

Черноглазая жена.

Городецкий. Узница

Однако почти всегда слово это используется в прямом значении: горячка, лихорадка. В переносном смысле одним из первых употребил его, по-видимому, Белинский, заговоривший о «величайшем кризисе нравственной *огневицы*».

Как же употребляет это слово А. Блок?

В статье «Поэзия заговоров и заклинаний» есть строки, посвященные разным народным заговорам — от глазу, порчи, болезней и т. д. Но «страшнее всех болезней — горячка, огневица, и заговаривают ее зато, — замечает А. Блок, — не шутливыми, а тяжелыми словами». Далее поэт цитирует и самый заговор, записанный на реке Аргунь: «... отскочите, отпрыгните, отпряните от раба божия родимые огневицы и родимые горячки с буйной головушки, с черных бровей, с белого тельца». Приведенный текст А. Блок заимствовал из сборника Л. Майкова «Великорусские заклинания».

Видимо, слово *огневица* сильно поразило воображение поэта, если спустя целых семь лет он возвращается к нему, работая над стихотворением и ища слова, которое с предельной точностью могло бы выразить всепоглощающую силу любви. Так 28 ноября 1913 года рождаются строки, в которых А. Блок — в первый и последний раз — использует взятое им из текста народного заговора слово *огневица* — использует в переносном смысле, обозначая им то состояние человеческой души, когда любовь захлестывает сердце и подавляет волю, как страшная болезнь, от которой нет спасения:

Испуганной и дикой птицей
Летишь ты, но заря — в крови...
Тоскою, страстью, огневицей
Идет безумие любви...

«Есть времена, есть дни, когда...»

«Любовь, как высшая тайна, — родная сестра заклинаний; отсюда они появляются, как цветы из бездны», — писал А. Блок. Из русских заклинаний возникло и то слово, которое можно назвать одним из самых «блоковских» — *огневица*.

II. «БЛОКОВСКИЕ» СЛОВА

К тенденции писателей и поэтов «изобретать» собственные слова А. Блок относился весьма скептически: он не любил «показных» неологизмов, рассчитанных на внешний эффект. Наверное, подобные слова казались ему не более чем «завитушками вокруг пустоты» (если позволительно применить это блоковское определение к данному случаю). Критикуя сборник стихов В. Стражева, Блок, например, замечает: «Придумывается неудачное слово: *страстоцвет*...» В рецензии на литературно-философский

сборник «Свободная совесть» он решительно «бракует» слова *прощальность* и *дальность*, справедливо указывая, что «такие словообразования чужды русскому языку».

Уже из двух этих примеров следует, что А. Блок, во-первых, прибегал к использованию неологизмов крайне редко и с чрезвычайной осторожностью, и, во-вторых, что он в подобных случаях старался исходить из потенциальных словообразовательных возможностей родного языка. Потому-то блоковские неологизмы, так органично и естественно связанные со стихией русского языка, почти всегда с трудом воспринимаются как индивидуально-авторские образования (ср., например, *осенницы* «нимфы осени», *утреть*, *зареть*, *задебренный* и др.).

Таково и характернейшее блоковское прилагательное *чарый* — быть может, более русское, теснее связанное с народной речью, чем общенародные *чарующий* и *очаровательный*. Образованное от того же корня, это блоковское прилагательное не совпадает по значению с указанными словами. *Чарый* обладает какой-то удивительной семантической емкостью: *чарый* — это колдовской, обманчивый. Есть в этом блоковском прилагательном какие-то изменчивые, темные краски, что-то от деревенского колдовства и ворожбы.

Очевидно, впервые А. Блок употребил это прилагательное в 1913 году:

Недостойный раб, сокровищ
Мне врученных не храня,
Был я царь и страж случайный.
Сонмы лютые чудовищ
Налетели на меня.

Приручил я чарой лестью
Тех, кто первые пришли.

«Как свершилось, как случилось?..»

Но, по-видимому, особенно интересно использование эпитета *чарый* в переводе стихотворения Аветика Исаакяна, сделанном А. Блоком в 1915—1916 годах для антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней»:

Не глядись в черный взор,
В нем — безбрежность ночей,
Ужас тьмы, духи гор,—
Бойся черных очей!

Видишь: сердце — кровавый ручей,—
Нет покоя с тех пор,
Как сразил чарый взор,—
Бойся черных очей!

В высшей степени примечательно, что А. Блок решил использовать свое новообразование в переводном тексте: к языку переводов поэт относился с особой взыскательностью, стараясь избегать слов, отмеченных печатью иного национального колорита, иной поэтической манеры. Но и здесь блоковское *чарый* оказалось на редкость уместным и выразительным: сопоставление *черный взор — чарый взор* вызывает мысль о странной, завораживающей магии, необъяснимой и обманчивой, о притягательной власти черных глаз, в которых — «духи гор» и «ужас тьмы».

В 1915 году в поэме «Соловьиный сад» А. Блок вновь обращается к эпитету *чарый*:

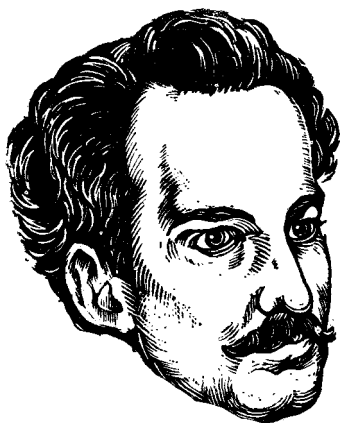
Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..

Зыбкость, призрачность мечты, замороженный соловьиный сад... Опять колдовское, обманчивое наваждение. Отсюда — и «чарый сумрак» утра, в неверном свете которого возникает облик прекрасной возлюбленной...

Чарая лесь, чарый взор, чарый сумрак... Редчайший случай, когда А. Блок, как правило избегавший повторений (а здесь к тому же — эпитет редкий, индивидуально-авторское образование!), использует слово многократно. Больше того: мы находим его даже в прозаических сочинениях А. Блока. В год, когда создавалась поэма «Соловьиный сад», он написал статью «Судьба Аполлона Григорьева» — блестящий по силе художественной выразительности очерк о русском поэте. И здесь А. Блок вновь обращается к эпитету *чарый*, который как нельзя лучше приложим к блоковскому описанию Петербурга, куда попадает молодой Аполлон Григорьев — Петербурга обманчивых белых ночей и героев Достоевского, Петербурга маящего, завораживающего — и страшно разъедающего душу сладкой отравой своей необъяснимой, призрачной красоты: «В таком-то чаром и страшном образе явился Петербург и Аполлону Григорьеву, буйному, благородному и страждущему юноше с душою Дмитрия Карамазова. Здесь-то и «приснились» этой душе многообразные «миры», и вихревые сны окончательно распатали вечную мающуюся между «восторгам» и «хандрой» душу».

Е. Н. ЭТЕРЛЕЙ

Продолжение следует.



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ХУДОЖНИК

СЛОВА

О языке прозы писателя

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934) — известный советский писатель, литературный критик, теоретик искусства, автор ряда сборников стихов: «Золото в лазури» (1904), «Пепел» (1909), «Урна» (1909), «Первое свидание» (1921) и др.; поэтических симфоний: «Героическая или Северная» (1900), «Драматическая» (1902), «Возврат» (1905), «Кубок метелей» (1908); повестей и романов: «Серебряный голубь» (1909), «Петербург» (1913—1914), «Котик Летаев» (1922), «Крещенный китаец» (1927), «Москва» (1926) (часть первая — Московский чудак, часть вторая — «Москва под ударом»), «Маски» (1932 — второй том романа «Москва») и других литературных произведений. Теоретические воззрения А. Белого в области поэтического искусства и литературы нашли отражение в сборниках его статей. Большой интерес для изучения творчества писателя и его эпохи представляют мемуары «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934).

Андрей Белый — представитель поколения, жившего на рубеже двух столетий: «Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа; я в начале столетия — сформировавшийся юноша, уже студент с идеями», — писал он позднее в своих мемуарах «На рубеже двух столетий». Это было время кризиса общественного и государственно-бюрократического строя царской России, время назревавшей революционной ситуации в стране. Преодоление кризиса жизни, мысли и культуры этого общества становится главным содержанием творчества А. Белого. Вместе с В. Брюсом-м и А. Блоком Андрей Белый приветствует Октябрьскую рево-

люцию. Он отдает много сил строительству новой культуры, ведет большую работу с молодыми писателями.

Творчество А. Белого, человека разносторонне одаренного и образованного, необыкновенно многогранно. Среди разнообразных интересов писателя один из самых глубоких — интерес к художественному слову.

Поиск самобытного живого слова для выражения самых сокровенных мыслей и переживаний был делом всей его творческой жизни. Главная задача поэтической речи, по его мнению, — творить новые образы, вливать их сверкающее великолепие в души людей: «восприятие живой, образной речи побуждает нас к творчеству; ...и поэтический образ досоздается — каждым; образная речь плодит образы; каждый человек становится немного художником, слыша живое слово» (Символизм).

Поиск нового художественного слова А. Белый связывал с символической теорией искусства; он опирался на положение А. А. Потебни о том, что символизм художественного творчества есть продолжение символизма слова, то есть его образной внутренней формы. Символ, по определению А. Белого, — это образ, «соединяющий в себе переживания художника и черты, взятые из природы» (Символизм). М. М. Бахтин справедливо считал А. Белого представителем реалистического символизма, для сторонников которого символ «знаменует реальную сущность вещи», а не только «объект души художника и его случайной судьбы» (Эстетика словесного творчества М., 1979). Это положение подтверждается писательским творчеством А. Белого. Стремление художника слова к более глубокому воплощению образа «в самый материал», из которого он построен, к усилению его музыкальности и эстетического воздействия на читателя выдвигало вопрос о художественной форме на передний план.

Критическая направленность литературных произведений писателя с наибольшей силой отразилась в художественной прозе; она — вершина его творчества.

Писательская манера А. Белого сложилась под влиянием лучших традиций русского критического реализма. Особенно ощутимо воздействие на язык и стиль его творчества Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Языковая ткань и образная структура одного из лучших произведений А. Белого — романа «Петербург» — органически сочетают в себе черты реалистического и символического изображения действительности. Это роман о революции 1905 года: его содержание

«довольно удачно передает то смятение умов и чувств, которое господствовало в так называемом „обществе“ Петербурга перед революцией» (А. В. Луначарский. *Собрание сочинений в 8-ми томах*, т. 3, М., 1964).

Одна из центральных тем произведения — уничтожающая критика социального строя и бюрократической системы царской России. Арсенал изобразительных средств художника слова богат и разнообразен: от тонкой, едва уловимой иронии, насмешки до гротеска, едкого сарказма.

Сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов — «столп» общества, один из тех, кто вращает «раскачавшееся государственное колесо» России. О его высоком положении автор говорит ироническим намеком, используя прием графического (интонационного) выделения указательного слова: «Аполлон Аполлонович был главой Учреждения; ну, того о... как его? Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного всем». В основе развенчания «столпа» — художественный прием несоответствия, контраста: «Если сравнить чудосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться паивному удивлению...» Само имя *Аполлон* (один из богов в древнегреческой религии, воплощение идеала мужской красоты) резко контрастирует с внешностью сенатора: «Аполлон Аполлонович не раз менял положение совокупности сухожилий, кожи, костей, именуемых телом. и казался маленьким египтянином». Сравнения А. Белого всегда меткие, емкие, дополняют портрет сенатора, переводя описание в плоскость «бытовых предметов»: «лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и — папье-маше (в час досуга)».

С помощью гиперболического гротеска, к которому А. Белый часто прибегал, изображается беспомощность отжившего государственного аппарата, дутые «бумажные подвиги» сенатора и его подчиненных. Вот Аблеухов сидит в своем кабинете «с напряженной височною жилою», «надувает тогда пузырем свои щеки, будто дует (такова уж привычка); холодочки продувают по нетопленным залам; завиваются смерчевые воронки разнообразных бумаг; от Петербурга начинается ветер, на окраине где-нибудь разражается ураган». Действия, вызывающие и сменяющие друг друга, передаются с помощью приема градации как усиление сначала едва заметного, потом все возрастающего воздушного потока (*надувает щеки — будто дует — холодочки продувают — начинается ветер —*

разражается ураган). — Бумажное производство, «выдуваемое» из Учреждения, вывозится «не возами, а фурами». «Обыкновенно бумага с (имя рек) подписью циркулирует до губернского управления; получают бумагу все статские (я разумею — советники): Чичибабины, Сверчковы, Шестковы, Тетерько, Иванчи-Иванчевские; от губернского города соответственно уже Иванчи-Иванчевский рассылает бумаги до городов: Мухоединска, Лихова, Гладова, Мороветринска и Пупинска (городов все уездных); Козлородов, ассессор, тогда получает бумагу». На этом вращение «бюрократического колеса» прекращается: «Козлородов просто сует в боковой свой карман запрос Иванчи-Иванчевского. И идет себе в клуб».

«Образы-переживания», или символы, А. Белого — одна из важных характеристик его языка и творческой манеры изображения действительности. Мастерство писателя заключается в художественно обоснованном выборе того или иного словесного образа, способного выразить самые индивидуальные и неуловимые переживания. Сложность отношений Аполлона Аполлоновича и его сына Николая Аполлоновича, ненавидящих друг друга и вместе с тем чувствующих свою общность и свое подобие, так передается в одном эпизоде романа (*две отдушины — сквознячок — бездна*): «когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну; и от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок: сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих смешались, так что сын мог наверное бы продолжить мысль отца». Столь же символично переживается в романе слово *вдруг*: «Твое „вдруг“ крадется за твоей спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате... Иногда же чуждое „вдруг“ поглядит на тебя из-за плеч собеседника... Меж тобой и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит».

...Мы оставили в рестораничке незнакомца. Вдруг незнакомец обернулся стремительно; ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиною не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанного входа...». «Образы-переживания» искусно используются А. Белым в его психологических зарисовках, создавая соответствующий эмоциональный настрой текста.

Следует особо сказать об одном художественном приеме, которым А. Белый владел блестяще. В. Шкловский назвал этот прием

отстранением: это описание человека, предмета или явления, как бы впервые увиденных, в необычном, особенном восприятии, а потому и обозначаемых другими, чем обычно, словами. Прием этот с особой художественной силой проявился в повести «Котик Летаев», где, по мнению С. Есенина, А. Белый «зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей» (Отчее слово). Воспоминания далекого детства, жизнь профессорской семьи, обстановка квартиры даются через восприятие маленького Котика Летаева, пытающегося по-своему, по-детски осмыслить представления отца, профессора Летаева, для которого квартира была миром интегралов: «в кабинете стен нет: вместо стен — корешки, за которые папа ухватится: вытащит переплетенный и странно пахнущий томик: вместо томика в стенке — щель...»; из томика бросаются... функции, которые «ползают на крючочках; и, вероятно, кусаются, как... мурашки, которые позавоидились в буфете...

— папа придвинул свой нос и подпирая очки двумя пальцами, он заерзал лицом и воскликнул:

— „Ай! Какая гадость: мурашки!“

Сам же он поразвел на дому всяких функций на листиках (до функций Лагранжа включительно), и существа иных жизней во всем: и в буфетных щелях, и в паутине под шторой —

— видел я там

брюхоногую функцию: —

— папа

пестрит своей функцией и ей белые листики; функции с листиков расползаются по дому...».

Отстраненно-образное слово дает «свежее», по-особенному воспринимаемое изображение, реализуя свой контекстуальный смысл (*корешки* — стены, *функции* — мурашки, букашки, *брюхоногая функция* — сложная по структуре). Обращает на себя внимание характерный для писателя прием интонационно-смыслового выделения — разрыв строки с помощью тире — *видел я там брюхоногую функцию!*

Проза А. Белого необыкновенно ритмична. «Моя проза, — писал он в предисловии к „Маскам“, — совсем не проза; она — поэма в стихах (анапест)». Существенно отметить, что ритмизация прозы особенно характерна для так называемых напряженных ситуаций (Б. В. Томашевский), обозначающих переломные, эмоционально окрашенные моменты в развитии действия. Аполлон Аполлонович вдруг вспомнил, что знает пезнакомца Дудкина с бешеным

взглядом, преследующего сенатора (узелок, перевязанный мокрой салфеткой в руках незнакомца, окажется — бомбой):

«Аполлѳн Аполлѳнович вспомнил: разночѳнца однажды он видел. Разночѳнца однажды он видел — представьте себе — у себя на дому».

Пульсация мысли (внутренний ритм) подчеркивается языковым (звуковым) ритмом, который делает ее значимой, переживаемой, а повтор и своеобразное замедление темпа речи (передаваемое разрядкой) еще больше «укрупняют» мысль.

Работа писателя над последним романом «Москва», оставшаяся незаконченной, характеризуется усиленными поисками новых языковых средств выражения. А. Белый отмечал: «Я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю смысловую абстракцию не только красками.., но и звуками.., чтобы читатель читал меня, став в слуховом фокусе» (Предисловие к «Маскам»). Ритм прозы А. Белого сопряжен с ее музыкальностью, разнообразием осмысленных созвучий (аллитераций) и «звуковых образов», тонкой инструментовкой текста: крупный делец Мандро из романа «Москва» жил в доме с зеркальным подъездом, «лицованном плиточками лазурной глазури» (л-л, лазур — (г)лазур). То же самое наблюдаем в «Петербурге»: изображение праздника — явления важных государственных «особ» в начале третьей главы, инструментованное повторением плавных, «гладких» слов, резко противоречит подлинному содержанию изображаемого и превращается в пронон, сарказм, что подчеркивается резким переходом в инструментовке текста от л к р: «Если б вам удосужилось бросить взгляд на то важное место, вы видели б только лак, только лоск...; словом, лак, лоск, блеск!» — «у лестничной балюстрады стояла златогрудая кучечка, обсуждавшая рокошущим басом роковое вращение колеса по колдобинам».

Звукопись, тонкое художественное звукоподражание составляют одну из характерных особенностей языка и стиля А. Белого. Мы слышим казалось бы невыразимые оттенки гула голосов гимназистов, собравшихся в большом зале, передаваемые самыми обычными звуками: «громко двестиголовое горло вавакало;— «в а», наливаясь силой, став «в в о о о», заострялось порою до «в в у у у». —У—у—у» (Москва).

Звуки и ритм падающих капель причудливо сплетаются в восприятии маленького Котика с именем тети Доти:

—«Что—
—то—
—те—
—ти—
—до—
—ти—
—по!»—

падают капельки в рукомыльнике» (Котик Летаев).

В работе над прозой последних десятилетий с наибольшей силой проявились реалистические черты творчества писателя, отразившиеся в ярких языковых образах. А. Белый — мастер художественной метонимии: в гостиной «стояли столбы коромыслом сигарного мнения», умозрение «выплетается, виснет словами и дымом из славного рта; и сплетается с умозрением; многозрение умозрений оседает на креслах табачною копотью» (Котик Летаев). А вот передача движения, перемещения в комнате персонажа «без персонажа», то есть без его непосредственного названия, путем передачи «сопутствующих» звуков:

«,— Вы, верно, Василий Иванович” — скрипнула дверь...

„— Что Антонович?” — скрипят половицы в гостиной... „Что пишет Грушевский?” — скрипит уже кресло...» (Крещеный китаец).

Метафоры писателя раскрывают глубокое художественное видение мира, всегда подчинены определенной творческой задаче и часто основаны на самых неожиданных ассоциациях. Характерные черты московского чудака, талантливого профессора Коробкина изображены в сознательно «сниженном», ироническом плане: «Японец... сидел, наготове вскочить; и вскочивши,— пасть ниц...; профессор же посоном развешивал мнения...»; на лекции Коробкина «стаи студентов... клевали: за формулкой формулку, за интегральчиком интегральчик»; «белая клавиатура зубов проиграла» (Москва). «Над столом тяжелело молчание. Этим молчанием за вкушением супа не смущался несколько Аполлон Аполлонович... Николай Аполлонович за отыскиванием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкою супа». (Петербург).

Стиль писателя характеризуется разнообразным использованием многозначности слова, «переливом» его значений как изобразительным средством, каламбурным осмыслением различных язы-

ковых единиц: мальчик Ваня Коробкин, будущий профессор, «на почтовых катился в Москву к надзирателю первой московской гимназии; в первом же классе стал первым»; «сам Эдуард Эдуардович был вдалеке от науки; он плавал в своих спекуляциях, часто рискованных» (каламбурное слияние двух омонимов: *спекуляция* — скупка и перепродажа чего-либо с целью наживы и *спекуляции* — умозрительное построение).

Повтор у А. Белого, с одной стороны, подчеркивает что-то характерное, существенное, например, слова Коробкина *в корне взять*, пестрящие его речь: «— Ну-с — пора, в корне взять»; «— Знаешь ли, Вассочка, — там Исси-Нисси стоит — дело ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю — ну там... В корне взять — знаменитость!», с другой, наоборот, делает что-либо несущественным, проходным, безликим: «Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом»; Сергей Сергеевич «уходил спозаранку; возвращался к полуночи... выпивал чашку чая и тихонько скрывался: он заведовал — где-то там — провиантами» (Петербург).

С большим мастерством А. Белый использует словообразовательные ресурсы русского языка. Употребление однокорневых слов с уменьшительными суффиксами лежит в основе приема изображения разнообразия в однообразии: «Дома, домы, домики, просто домчѣнка и даже домчѣночки...»; на столе было «множество всяких бумаг, бумажек, бумажек, бумажечек...»; «бежали... шапки, шапочки, просто шапчурки...» (Москва). Богатство словообразовательных возможностей — в основе и образно-иносказательного изображения: «Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал... Все в жизни ему вытанцовывалось. Затанцовал еще мальчиком; танцевал лучше всех; к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к окончанию факультета из круга знакомств вытанцевался и круг покровителей; Николай Петрович пустился отплясывать службу; протанцевал он имение... Так что теперь дотанцовывал сам он себя» (Петербург).

Постоянное стремление к новым изобразительным средствам в языке приводит писателя к созданию окказиональных слов (неологизмов), особенно заметному в последний период его творчества. Такие слова благодаря своей ощутимой внутренней форме дают возможность по-новому увидеть изображаемую действительность;

смысл же их, как правило, подсказывается аналогией со структурно подобными образованиями, а также самим текстом: (ответила) молчъ, (изо лба сделал) морщ, покбр (выражал его взгляд, здесь: покорность), (не могли выветрить) припах, (домик был с) поскрипом, пробуд (был ужасен), заблесты (лунного света), (суши и) бездожи (ср. общеупотребительные существительные с нулевым аффиксом: пуск, лет, разброс, прилив, серьез, призыв, интим и т. п.); (два) растрепанца (ср. оборванца); (на лице проступил сероватый) зеленец (ср. румянец); дрогливою (стала), (оглядывался) дрогливо (ср. пугливо); стал он дневатель бульваров (дремал на скамейках); ночным бродуном волочился без цели (ср. болтун, хохотун); вымухивать (комнату) (ср. вытряхивать ковер, пьжъ из ковра); (переодетый Мандро глядел) волколисом (о злом и хитром человеке) и др. (Москва).

А. Белый придавал исключительно важное значение жестам, интонации, мимике персонажа, считая, что они иногда бывают гораздо важнее самих слов. Лексика, грамматика и словесная фонематика оказываются у писателя «сжатыми» в орфографически-интонационный жест, выразительный намек на содержание. А. А. Реформатский, говоря о репликах в диалогах у А. Белого в виде одних только пунктуационных знаков («?», «!» и т. п.), вспоминал, как их «умел „произносить“ автор в своем мастерском исполнении при чтении своих произведений» (А. А. Реформатский, Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979).

Множество подобных диалогов можно найти в романе «Петербург», например: «,— Этому, послушайте, не бывать: не бывать, Николай Аполлонович,— не бывать никогда!»

И на бритом, багровом лице проиграло:

— „?“

— „!“

— „!?“

Совершенно помешанный!»

Было бы, конечно, большим заблуждением считать, что художественная форма являлась самоцелью писателя. Напротив, она — лишь средство для раскрытия творческой мысли, прием эстетического освоения действительности. А. Белый прежде всего — художник мысли; говоря его же словами, он никогда не был фетишистом слова, а был диалектиком смыслов.

Л. А. НОВИКОВ



„ЧУДО СОПРИКОСНОВЕНИЯ“

Когда в 1953 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу «Люди нашего берега», имя ее автора еще ничего не говорило читателю. Им был молодой чукотский писатель и журналист Юрий Рытхэу. С тех пор прошло около тридцати лет, и имя Рытхэу стало широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Его книги открывают суровый мир чукотской природы, неистраченных богатств тундры, древних сказаний и трудовых свершений настоящего времени. С гордостью и любовью Юрий Рытхэу пишет о своих земляках, чукчах и эскимосах, ставших активными строителями новой жизни. Человек Севера с его прошлым и настоящим, его духовный мир и трудовая деятельность — вот главная тема творчества Рытхэу. И к какому бы времени ни обращался писатель — многовековым преданиям (Когда киты уходят), к предреволюционным и послереволюционным преобразованиям (Конец вечной мерзлоты, Белые снега) или к событиям сегодняшней жизни (Полярный круг), — эта тема определяет идейно-эстетическую направленность его произведений.

Андрэ Стилль в газете «Юманите» писал о Юрии Рытхэу: «Здесь все чудо: чудо давнего прошлого, примитива, если хотите, экзотики; чудо процесса, чудо своеобразного соприкосновения между тем и другим».

«Чудо соприкосновения», о котором говорит Андрэ Стилль, не ограничивается областью тематики и сюжета: оно проявляется в сочетании национальной специфики произведений с формой их

языкового выражения. Юрий Рытхэу пишет на русском языке, достигая поистине удивительной гармонии между тематической основой художественного образа и его языковым воплощением, находя свои «соприкосновения» между такими генетически далекими языками, как русский и чукотский.

Рассмотрим, как проявляется взаимодействие языков в области лексики. При употреблении национального слова народов Севера Рытхэу часто прибегает не к подстрочному толкованию значения (хотя этот прием также им используется), но к включению русского лексического варианта в состав контекста: При этом сочетание двух семантически однозначных наименований в составе образной конструкции усиливает ее общую экспрессию, ср.: «Как слово может ранить человека! Оно бьет сильнее *кэччина* — *плетки* и остро вонзается в тело!» (Айвангу).

Двуязычный параллелизм у Юрия Рытхэу в значительной мере определяется прямой речью персонажа, несобственно-прямой и авторской. А это в свою очередь, зависит от специфики национального видения того или иного действующего лица. Например: «— *Умка!* — крикнул К а л я ч. Дабкин выпростал из-под себя винтовку. *Медведь* шел не спеша, презрительно, как показалось Д р а б к и н у, оборачиваясь на приближающуюся упряжку» (Белые снега).

Национальная лексика вводится различными приемами. Речевая ситуация контекста (его содержание, сюжетно-тематические и композиционные особенности) придают слову национального языка эмоциональное «звучание» разной тональности. В качестве иллюстрации остановимся на слове *тэрыкы*: «Тынатваль сидела у погасшего очага и тихонько напевала: „Из дальней ледяной дали приближались черные люди-*тэрыкы* в одежде из черных шкур. И шерстью обросли их лица, и вокруг ртов их запеклась черная кровь“» (Конец вечной мерзлоты): «Наргинау ведь не виновата в том, что ее мужа унесло на льдине и она стала вдовой. Таких вдов замуж не брали — считалось, что муж ее может превратиться в *оборотня* и прийти за женой своей в страшном облике *тэрыкы*» (Белые снега).

В первом примере национальное слово в функции необособленного приложения к «люди» используется в составе прямой речи персонажа, в которой описывается внешность «тэрыкы». Во втором примере то же слово, но уже в качестве самостоятельного члена предложения употреблено в авторской речи, причем в списке указано: *тэрыкы* — оборотень. В то же время существительное *оборотень* содержится и в самом контексте, где по смыслу соотносится с *тэрыкы*. Таким образом, параллелизм слов *тэрыкы* — *оборотень* устанавливается в авторской речи. В третьем случае это же суще-

ствительное, употребленное в реплике персонажа, сопровождается энциклопедическим толкованием в сноске. Ср: «—Коровье, ты ли это? — крикнул издали Инэли.— Я. Никто другой. Можешь пощупать меня. Совершенно живой и даже не *тэрыкы*». В сноске указано: «По поверьям чукчей, человек, заблудившийся в тундре или унесенный в море на лодке, может одичать и превратиться в так называемого *тэрыкы*» (В долине Маленьких Зайчиков).

Особую смысловую значимость у Рытхэу приобретают те национальные слова, которые в тексте сопровождаются развернутыми пояснениями. Таким приемом автор знакомит читателя не только с деталями национального быта и культуры, но и с особенностями социального прошлого народа. Так, например, используется существительное *эrmэчин* (*эрым*) в составе прямой речи с последующими комментариями автора: «— Позвольте преподнести вам эти скромные подарки как знак уважения к вам и вашему высокому званию — *эрыма*.

Эрым или *эrmэчин* на чукотском языке значили многое. Прежде всего — сильный, сильнейший. *Эrmэчину* не надо было одерживать верх на весенних состязаниях великого праздника Килвэй, он знал совсем другую силу. Он имел — власть! Власть над богатствами тундры, над людьми, кормящимися вокруг его тучного оленьего стада» (Конец вечной мерзлоты).

Автор указывает этимологическое значение рассматриваемого слова как «сильный, сильнейший», но основной акцент делается на социальном его оттенке. Сама семантика «сильный» обыгрывается в двух планах — физическом и общественном. При этом писатель использует перечисление, лексический повтор, усиленный графическим приемом (знак тире между сказуемым и дополнением). Лексический повтор на стыке двух предложений («Он имел — власть! Власть над богатствами тундры...») выделяет слово *власть*, семантика которого соотнесена со смысловым содержанием национальной лексики *эrmэчин*.

Национальным видением проникнуты образные средства в произведениях Юрия Рытхэу особенно в тех контекстах, где описываемые факты, события, предметы как бы «пропускаются» через призму мировосприятия персонажа. Наиболее четко это устанавливается в области сравнений. Например: «Миллонэ хотелось заглянуть в жаркую комнату (<...> Она уже было привстала со своего места, но тут ее едва не сшиб Грушецкий, *словно стрела, пущенная из лука*, выскочивший из горячего облака» (Конец вечной мерзлоты). В качестве опорного слова сравнительного оборота выступает существительное *стрела*, общеупотребительное при обозначении стремительного движения. Но автор конкретизирует образность не только введением причастного оборота («пущенная из

лжа»), но и соотносительностью сравнения с национальным видением персонажа, чукчанки Милюнэ.

В произведениях Рыхтэу использование сравнения иногда обусловливается всем сюжетом повествования и имеет «глубинное» идейно-эстетическое обоснование, что особенно наглядно проявляется при обращении писателя к национальным чукотским сказаниям. Так, в произведении «Когда киты уходят», названном автором «современной легендой», перелагается древнее предание северных народов о происхождении приморских жителей. Не рассматривая подробно художественное своеобразие произведения, остановимся лишь на одном эпизоде, когда путники, вернувшись на родину спустя много лет, рассказывают о своих странствиях. «— И рассказали они нам легенду о своем происхождении,— продолжал поседевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь.— Слушали мы ее, и словно звучал голос старой Нау и перед нами воскрешалось наше собственное детство. И сказали те люди нам, что издревле им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница всех людей, жена Кита, человеческая женщина, мать всех приморских жителей (...). — Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студеные воды».

Рассказ завершается сравнительным предложением, в котором глаголы-сказуемые *торопились* — *спешат* имеют тождественное значение «стараться делать что-л. как можно быстрее, стремясь не задержаться, не опоздать». В рассматриваемом случае функция сравнения выходит за пределы чисто художественной образности, так как сопоставление *мы* (люди) — *киты* основано на реальности сдержания произведения. Исходя из формального лексического выражения того, что и с чем сравнивается, этот оборот можно отнести к широко распространенным конструкциям, где характеристика человека (по внешности, манере поведения) базируется на сопоставлении с явлениями природы и понятиями живого мира. Но в данном примере содержание контекста должно пониматься шире: здесь подчеркивается основная идея произведения — неразрывная связь человека с природой, утверждается тезис о том, что и сам человек является частью ее.

Данная позиция Юрия Рыхтэу как художника слова проявляется также при установлении значений чукотских собственных имен в тексте произведения. В этом отношении интересны контексты, содержащиеся в книге «Белые снега»: они примечательны тем, что раскрывают одновременно с национальным своеобразием чукотских имен их восприятие русским человеком: «— Унпенер по-

русски будет — Кол-звезда, — объяснил Тэгрын, — а *Кымына*... женщина-червяк. — Кол-звезда — это Полярная звезда. — А женщина-червяк? — машинально спросил Сорокин. — Так и будет, — невозмутимо ответил Тэгрын. Сорокин посмотрел на Кымына. Красивая девочка, с круглым лицом, длинными ресницами. Сияя татуировка на подбородке несколько не портила ее. Надо бы расспросить, почему так назвали девочку, но это потом... У других ребят имена были обычные: *Вуквун* — камень, *Тугыма* — тьма, один из мальчиков, задумчивый, тихий, носил имя *Тугрил*, что означало — крылья сумерек».

В этом же произведении (Белые снега) Рытхэу с юмором описывает такую ситуацию, при которой в связи со значением собственного имени происходит столкновение русских и чукотских понятий: «Случалось, что значение того или иного имени ставило и его [Сорокина] в тупик. Когда, например, стали разбираться, что таит в себе имя *Наргинау*, оказалось, что оно означало всего-навсего „уличная женщина“ (...) Спросили самое Наргинау, и она добродушно подтвердила догадку, уточнив, что правильнее будет „вольная женщина“, „та, которая снаружи яранги, на улице“».

Семантика антропонима может раскрываться через контекст, подчеркивающий смысловую и эмоциональную значимость имени, его взаимосвязь с той землей, где оно было рождено. Ср.: «— Человек обратно во времени не возвращается, — задумчиво заметил *Тугрил*. — А тебе не надо возвращаться во времени, возвратись в себе самом, — тихо сказал Токо. — И пусть *крылья весенних сумерек* напомнят тебе родину. „*Крылья весенних сумерек*“... Как удивилась Лена, когда он перевел свое имя на русский» (След росамахи, ср. с приведенным примером: *Тугрил* — крылья сумерек).

Повествовательной манере Рытхэу свойственны «переключения», когда описание и изложение событий ориентируется и на национальный персонаж, и на персонаж, для которого уклад жизни чукчей непривычен, а назначение многих предметов быта непонятно. Например: «У стен стояли деревянные бочки, вместительный ящик с широкой дырой посередине, на стенах висели непонятные вещи, видно, охотничье снаряжение. В переплетении ремней, удерживающих крышу из моржовой кожи, Сорокин увидел изображение маленького китенка» (Белые снега). Как видно из контекста, здесь нет ни специального наименования «вместительного ящика», ни точного обозначения «охотничьего снаряжения», которые имеются в чукотском языке. Употребляя сочетание «моржовая кожа», автор не дает чукотский эквивалент «рпальгин», который им неоднократно используется и в цитируемом произведении, и в других романах. Это объясняется тем, что Рытхэу как бы

смотрит глазами впервые приехавшего на Чукотку человека — Сорокина.

Очень интересны контексты, где описание одного и того же объекта производится, так сказать, с разных ракурсов в зависимости от «точки зрения» того или иного персонажа, которая обуславливает нейтральную или экспрессивно-эмоциональную оценку изображаемого. Ср.: «Пэнкок перевел бинокль вниз: селение Улак тянулось двумя рядами яранг по длинной галечной косе, которая начиналась у подножия Сторожевой сопки» (Белые снега); «С морской стороны Улак представлял унылое зрелище, и сердце у Сорокина сжалось при виде этих убогих, почти взрослых в землю хижин» (там же). Если в первом контексте автор смотрит глазами коренного жителя Чукотки, для которого вид родного селения привычен, то во втором примере характеристика того же объекта ориентирована на восприятие иного персонажа, который впервые попадает в чукотское селение. Этим объясняется употребление во втором примере прилагательных, передающих определенный эмоциональный оттенок: *унылое* (зрелище), *убогие* (хижины); следует также отметить, что одно понятие передается в первом примере существительным *яранги*, а во втором — *хижины*.

В повествовании Юрия Рытхэу наблюдается художественно-образный параллелизм, основанный на представлениях и деятельности генетически далеких народов. Писатель ищет и находит такие средства и приемы, которые помогают осознать особенности жизни чукчей не только дореволюционного периода, но и настоящего времени. Например: «Нутетейн протянул бинокль. Но моржи и так хорошо были видны. Огромные морские звери утробно урчали, словно переговаривались между собой. Одни выползали из студенной воды на сушу, другие, наоборот, устремлялись в волны, словно жарко им становилось на холодной скользкой гальке. Среди моржей были особи разного пола, разных возрастов — старики и старухи, молодые, средних лет и совсем юные моржата, которые шалили, получали шлепки от старших (...) — Красиво? — спросил Нутетейн... Нанок молча наклонил голову. Наверное, действительно красиво. Ведь для Нутетейна это было зрелище, полное огромного значения: торжество жизни, которое перекликалось с его воспоминаниями, с его юностью и зрелостью, когда созерцание такого богатства означало спокойную, сытую зимовку, радость, новые песни и танцы... Наверное, такие же чувства испытывает земледelec, когда видит волнующееся под легким ветром огромное поле созревшей пшеницы или налившееся гроздь винограда...» (Полярный круг). В этом примере отчетливо проявляется смысловая значимость образов, взаимозависимость идейного и эстетического начала, вообще характерная для художественной литературы, когда

само понятие прекрасного основывается на практическом опыте народа.

Нравственный пафос произведений Юрия Рытхэу во многом определяется неразрывной связью темы трудовой деятельности с темой духовного роста народа. Писатель рассказывает о том, как вместе с Советской властью на Чукотку пришла письменность, какое громадное значение в жизни чукчей имела школа, где первыми учителями были русские люди. В романе «Белые снега», действие которого относится к 20-м годам, эта тема раскрывается и в культурно-просветительском аспекте, и в социальном. Автор показывает, как народ чукчей шел к знаниям, к грамотности через преодоление предрассудков, через сопротивление шаманов и местных богатеев и как дело, начатое русскими учителями, продолжили их последователи — первые чукотские учителя. Названный роман примечателен и тем, что национальная специфика языка, представлений, образа мышления находит свое очень точное воспроизведение, когда автор прибегает к сравнениям, калькам, параллелям для обозначения предметов и понятий, незнакомых чукчам того времени. Один из главных персонажей учитель Панкок говорит, обращаясь к своим ученикам: «Вы будете путешествовать на *летающих лодках и больших повозках, мчащихся по железным полосам* (...) На этой белой, как снег, бумаге вы будете учиться наносить следы человеческой речи. Первое время вы будете пользоваться этой пачкающей палочкой, которая называется карандаш. Потом я вас научу писать железным пером, похожим на маленькое копьё» (Белые снега).

Использование двуязычных параллелей, новых стилистических приемов, тонких смысловых и экспрессивных оттенков слов в контексте в соотношении с разными «участниками» повествования (автор-рассказчик-персонаж) — все те явления, которые обнаруживаются в индивидуальном творчестве Ю. Рытхэу, обогащают выразительные и образные возможности русского языка. И вместе с тем творчество писателя подтверждает значение русского языка в жизни народов Советского Союза, о котором он так говорил: «Русскому языку, первому среди великих языков мира, выпала честь служить орудием освобождения поработенных царизмом народов. Он не только средство общения и объединения трудящихся многонациональной Советской страны, но также язык, через который проникают в сознание людей ленинские идеи. Изучение русского языка, овладение им, послужило толчком к дальнейшему развитию и обогащению национальных языков» (Ю. Рытхэу. Четвертое измерение).

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ
Рисунок В. Комарова

МУЗЫКА ВЕЧЕРА

Когда вечер румяный прозрачною
Пеленой над землей расстилается,
Жизнь смолкает дневная, тревожная,
И вечерний концерт начинается.

Вот в болоте бас цапли послышался,—
Хором вторят лягушки крикливые,
И гремят ноты те и сливаются —
Перливаются в трели тоскливые.

По межам слышно резвых кузнечиков
Меж колосьев, травы стрекотание;
Бойко перепел в поле откликнулся
На призывное самки свистание.

Из лощины росистой, темнеющей
Коростели скрип резкий доносится...
Мошек рой с звонким гулом качается —
В музыканты он жалобно просится.

А вдали, будто звон колокольчиков,
Ручейка чуть-чуть слышно журчание...
И вся музыка льется торжественно
Ночи в встречу средь мира, молчания...

УЖАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Бывают тяжкие мгновенья,
Когда душа как будто спит;
Забыв все бури и волненья,
Она бесчувственно молчит;
В ней нет тогда любви сокрытой,
В ней нету злобы ядовитой,
Она забудет жар страстей
<И> нежный трепет вдохновенья,
И звук привычный песнопенья
Уже не раздастся в ней;
Ее не мучают страданья,
Ее не мучает тоска,
В ней нету гордых пожеланий
И мысль о славе далека.
Душой смущенной и унылой
Не слышу Музы я полет,
И этот сон, как сон могилы,
Меня и мучит и гнетет.
И я молю творца с тоскою:
Пусть лучше мучиться, страдать,
Пусть буду я болеть душою,
Но только этим сном не спать!
Не спать тяжелым сном забвенья
С веселых юношеских дней
И, отдаваясь вдохновеньям,
Не охладеть душой своей!

О, если б жизнь моя спокойно, безмятежно,
Без горя и тоски текла среди полей;
Чтоб здесь, в глухой степи, широкой и безбрежной,
Я привыкал любить и веровать в людей;

Чтоб здесь я почерпнул для честной жизни силы,
Пока не истомлен тревогой суеты,
Чтоб мог припоминать с улыбкой до могилы
И первую любовь, и первые мечты;

Простор раздольных нив, высоких, колосистых,
Безмолвие и сон в тени родных лесов,
И блеск румяных зорь, и теплых, росистых,
И тишину ночей, и песни соловьев!..

ВОСПОМИНАНИЕ

Раскинулось поле равниной безбрежной,
Покрытое серым, холодным ковром...

Одни облака чередой белоснежной
Плывут, колыхаясь, над тихим селом.

Все мертво, пустынно. Лишь ветер сердитый
По пашням поблекшие листья кружит...

Все скукой томит в деревушке забытой,
Но все о былом говорит...

О, если б ты знала, с какою тоскою
Всегда вспоминаю я прошлые дни!

И ласки, и встречи вечерней зарею,
И жаркие полдни в прохладной тени...

Качели высокие в чаще садовой,
Веселые звуки веселых речей;

И сумрак, и сырость в аллее сосновой
В безмолвии лунных ночей!..

«Прочь тоскливые думы!» — вот светлый девиз
Для того, кто решил трудиться,
Для всех тех, что за трудное дело взялись,
Чтобы радостной цели добиться!..

Пусть сырая, холодная бурная мгла
Свет застлала лазури беззвездной,—
Не бросай малодушно и робко весла
И до утра носись над бездной!..

Снились мне цветущие долины,
Снились мне зеленые леса,
Снились мне зубастые вершины
Синих гор, ушедших в небеса;

Замок, дремлющий при шепоте фонтанов,
Где красавица склонившись на балкон,
Спит в тени развесистых каштанов,
Под навесом мраморных колонн;

Где старинные высокие ограды
Осенила зелень тополей
И зарею льются серенады
В тихом сумраке задумчивых аллей...

В детских сказочных легендах и преданьях,
Словно сон какой-то неземной,
Мир поэзии в туманных очертаньях,
В смутных образах являлся предо мной.

Верил я, что в мире сновидений,
Позабыв нерадостный свой путь,
От забот, тревоги и сомнений
Всею душою можно отдохнуть...

Оттого, быть может, так глубоко
Я люблю бывшее вспоминать;
Что-то светлое, ушедшее далеко,
Навевает детство мне опять;

Позабыв про горе и страданья,
Верю я, что, кроме суеты,
На земле есть мир очарованья, —
Чудный мир любви и красоты!

Проплыла в небесах, в небесах потонула
С замирающим криком станица гусей.
Не гляди им во след. Сердце в даль потянуло,
Но тревогу свою ты уйми и рассей.

Что напомнил тебе этот крик, прозвеневший,
В небесах потонувший с призывной тоской?
О далекой весне, навсегда отлетевшей,
Он напомнил тебе, твой смущая покой.

Той же смутной тоской ты томился бывало;
Только прежде ты звал и лелеял печаль:
Та печаль к небесам в светлый край увлекала,
В безграничную даль.

Ты тогда лишь встречал свою юность и счастье,
Твой весенний рассвет, напоенный теплом.
А теперь впереди — только сумрак, ненастье,
Одинокая осень и скорбь о былом.

В КРЫМСКИХ ГОРАХ

Здесь осень светлая и тихая стоит.
У нас, на севере, теперь зима уж скоро,
И северных лесов угрюмый, строгий вид
Багряною листвою не утешает взора.

Цветов и певчих птиц давно уж в рощах нет,
И гулко каждый звук по чащам раздаётся...
В полураскрытый верх деревьев грустно льётся
Осенний полусвет.

А в северных полях, пустынных и туманных,
В такие дни ещё тоскливей и грустней,
Лишь караваны туч седых и оловянных
Плывут над скучною пустынею полей.

Когда же гаснет день и сумерки скрывают
Безмолвные поля в свою густую тень,
Печально огоньки среди лесов мерцают
Из бедных деревень...

II

Но далеко от нас все это,
Здесь ночи звездны, ясны дни,
И сколько в них тепла и света,
Как упоительны они!

Ни тучки нет на небосклоне,
Проснешься утром — тишина,
Тень от деревьев на балконе
Прохладой бодрою полна.

В долинах пар на солнце блещет,
Синеют влажно цепи гор,
Под ними золотом трепещет
Морской лазоревый простор.

И там, где с ласкою прощальной,
Белея, тонут паруса,
Чертою призрачно-хрустальной
Слилися с морем небеса...

III

И в горы я с утра с двухстволкой ухожу;
Там воздух по утрам ещё свежей и чище,
И целый день один я в тишине брожу
Среди пустынных гор, как будто на кладбище.

На скатах их видны лишь камни да трава,
И кажется внизу, в долинах меж горами,
Что неба яркая, густая синева
Обрезана вверху гранитными скалами.

И я иду туда, к той светлой вышине,
Не отрываю глаз от синего простора,
Но тонут небеса в воздушной глубине,
Уходят медленно от взора...

Зато какая даль открылась предо мной!
Извивы рек, леса, кустарник ярко-алый,
Долины, цепи гор, вершины, перевалы,
А там и ширь полей — дорога в край родной!

IV

Степь равниной пожелтевшею,
Безграничною лежит,
И в дали воздушной марево
Над равниною лежит.

И курганы одинокие,
Молчаливые видны,
Беззаветной, грустной думою
О бывалых днях полны,

И в выси небесной с севера,
Чуть заметные вдали,
Над степями, над курганами
Тихо тянут журавли.

И скликаются, и слышится
В перекличке их печаль...
Не родимого ли севера
Перелетным птицам жаль?

Если так, — снесите к северу,
Возвращаясь по весне,
И мою печаль по родине, —
Мой поклон родной стране!

Печатается по: Иван Бунин. Литературное наследство,
т. 87, книга первая, М., 1973

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ МОЛОДЕЖИ

В редакцию журнала «Русская речь», в Институт русского языка АН СССР приходит немало писем, в которых их авторы, родители и педагоги, просят побольше говорить о культуре речи молодежи — детей и подростков, учащихся средних школ и студентов, разъяснять речевую и нравственную опасность жаргонов и арго, элементы которых нередко подхватываются в молодежной среде то ли в силу дурной «моды», то ли вследствие известной возрастной бравады и т. п.

Учитель русского языка и литературы средней школы М. А. Грачев из г. Павлово-на-Оке справедливо

говорит в своем письме о необходимости активной борьбы против «вульгарных и пошлых жаргонов». А чтобы эта борьба была плодотворной, надо, полагает тов. Грачев, квалифицированно готовить кадры воспитателей, педагогов, учителей. «Но, к сожалению,— отмечает он,— в вузовских учебных пособиях по современному русскому языку молодежным жаргонам отводится слишком мало места. Тем более не говорится об этом и в школьном учебнике. Учитель же русского языка должен наглядно показать учащимся убожество лексики жаргонов и в особенности арго, убедить их в том, что речь современного ученика, молодого человека, насыщенная жаргонизмами и другими нелитературными словами, вступает в противоречие с условиями жизни в нашей стране, где все нацелено на воспитание гармонической личности».

Заинтересованное и тревожное письмо учителя М. А. Грачева поднимает очень важные и актуальные вопросы речевой культуры.

Действительно, проблема жаргонизмов в русском языке наших дней тесно связана и с судьбой социальных диалектов в новых общественных условиях, и с эстетическими, художественно-реалистическими и т. п. задачами писателей, журналистов, перевод-

чиков, а вместе с тем и с общими задачами языкового и нравственного воспитания, с повышением культуры речи новых поколений советской молодежи.

В журнале «Русская речь» (см., например, статью «Профессиональные языки, жаргоны и культура речи», 1972, № 1) мы уже писали о современном молодежном жаргоне (сленге), говорили о его исторических истоках и нынешнем бытовании, о его лексическом убожестве и грубой фамильярности.

Конечно, судьба различных по своему происхождению и функциям жаргонизмов различна: одни из них так и не выходят за пределы собственно жаргонной речи, не перерастают возрастных или локальных, то есть местных, профессиональных и т. п., рамок, а другие становятся постепенно вполне обычными элементами непринужденной, обиходно-разговорной речи (нередко стилистически сниженной).

Однако в разъяснительной работе языковедов, социологов, психологов и педагогов мнимые опасности «жаргонизации» (в связи с быстрой сменяемостью, «текучестью» или «летучестью» жаргонной лексики) не должны заслонять то подлинное зло, которое приносит жаргон. Ведь он иссушает, загрязняет и

вульгаризирует устную речь молодежи, но-своему стандартизирует ее, наполняя ходячими шутками и сомнительными остротами; он заглушает живую мысль, подлинное языковое творчество, лишает речь индивидуального своеобразия.

Понятно, что эффективная борьба с жаргоном невозможна без опоры на серьезные знания собственно лингвистической и психологической основы его формирования и реального распространения и бытования прежде и теперь.

Публикуемая статья Е. Г. Борисовой «Современный молодежный жаргон» посвящена описанию и анализу некоторых характерных особенностей «новейшего» молодежного (студенческого и школьного) жаргона. Автор знакомит педагогов и родителей, а также всех заинтересованных читателей с научной литературой по социолингвистике, ставит актуальные языковые и общественные вопросы борьбы с опасностями жаргонизации молодежной речи.

Помещая эти материалы на страницах журнала, мы приглашаем читателей продолжить разговор о культуре речи современной молодежи.

Л. И. СКВОРЦОВ

СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН

В последние годы в нашей стране появилось немалое число работ, посвященных профессионально-групповым диалектам и другим языковым явлениям. Назовем некоторые из них: В. Д. Бондалетов. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Рязань, 1974; Д. С. Лихачев. Арготические слова профессиональной речи. — сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка». М., 1964; Р. Х. Салимова. Современное профессиональное просторечие. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1974; Л. И. Скворцов. Теоретические основы культуры речи. М., 1978; Ф. П. Филин. Сок или джус? Обслуживание или сервис? — Сб. «Теория языка. Англистика. Кельтология». М., 1976.

Интерес советских лингвистов к этим проблемам неслучаен: в 50—60-е годы заметно увеличилось количество профессионально-просторечной и жаргонной лексики в устной речи различных социальных групп, в особенности молодежи. В непринужденной беседе со сверстниками, друзьями молодые люди часто употребляют жаргонные слова и выражения, непонятные людям старшего поколения.

В статье дана краткая характеристика англоязычного жаргона и показаны социальные особенности его функционирования.

Словарь жаргона — весьма изменчивое явление: на протяжении двух-трех десятков лет он может несколько раз изменить свой состав. Поэтому задачей исследователя, работающего в области социальной диалектологии русского языка, является своевременное описание того или иного жаргона, определение его места в речи и закономерностей развития. Выявление причин возникновения и функционирования жаргона делает возможной борьбу за правиль-

ность и чистоту русской речи. Таким образом, изучение социальных диалектов имеет важное значение как для теоретических исследований в области языкознания, так и для практического решения вопросов культуры речи.

На рубеже 60—70-х годов в речи некоторых старшеклассников и студентов появились жаргонизмы английского происхождения. Они получили отражение в газетных фельетонах и юмористических рассказах, где употреблены для характеристики действующих лиц: «Краем уха фореитор прогресса слышал, что во всяком городе имеется заветное место — скверик ли у комиссионного магазина, общественная уборная ли, — где продувные ребятки, именующиеся фарцовщиками, достают из рукавов своих блейзеров „джапанские“ солнцезащитные очки, „стейтсовы“ жвачки, „бидесовые“ магнитофоны и, конечно же, многоликую джинсовую коффецию» («Литературная газета», 24 мая 1978); «Выделялся резкий, с хрипотцой и почти детский голосок: — Клевые блуевые трузера с двумя кокетами на боксайде», «Тебе нужны джинсы. Фирма. Не наши, конечно, а с хорошим лейблом» («Огонек», 1978, № 52); «Вчера снова был „сейши“. Мы веселились...» («Комсомольская правда», 16 апреля 1977). Связь между употреблением жаргонизмов и духовными интересами молодежи осознается как самими носителями жаргона, так и представителями других поколений; об этом, например, писала газета «Комсомольская правда» в статье «Томились от веселья» (16 апреля 1977).

Жаргон с использованием англицизмов — явление необычное в истории русского языка. Раньше в образовании жаргонизмов принимали участие в основном словообразовательные средства, а заимствования были редки. В современном жаргоне используются главным образом английские слова, которые изменяются, приспособляясь к грамматической и фонологической системам русского языка. Большинство жаргонизмов составляют существительные, но есть среди них глаголы и прилагательные.

Многие англицизмы вошли в русский жаргон в звучании, очень близком к английскому: *бас* (автобус), *гам* (жевательная резинка), *кейс* (портфель), *рум* (комната) и т. д. Все это — существительные мужского рода. Некоторые существительные приобрели окончание *-а* и, следовательно, стали восприниматься как слова женского рода: *вайфа* (жена), *лейбла* (этикетка). Прилагательные образуются при помощи суффикса *-бв-*: *вайтбвый* (белый), *лэфтбвый* (левый), *найсбвый* (хороший).

По значению все жаргонизмы можно разбить на несколько тематических групп. Довольно большая группа обозначает предметы одежды, обуви, разные вещи: *бáтгон* (пуговица, кнопка на одежде), *бэг*, *кейс* (сумка, портфель), *воч* (наручные часы), *джинсы* (джинсы), *трузерá* (брюки, джинсы), *шувэ* (ботинки) и т. п.

Другая многочисленная группа — названия людей с различиями по возрасту и полу, профессии, роду занятий, родственным связям, по национальной и расовой принадлежности и т. п.: *бой*, *гай* (парень, юноша), *драйвер*, *чиф* (шофер такси), *мáзер* (мать), *олды*, *пэрэнтэ* (родители), *фáзер* (отец), *джананэ* (туристы из Японии), *диск*, *рэкорд* (грампластинка), *мюзик* (музыка), *магнит бэнд* (магнитофонная пленка), *тэйпер* (магнитофон), *кар* (такси), *драгстер* (аптека), *сейшн* (молодежная вечеринка), *флэт* (квартира, где устраивается вечеринка).

Глагольные жаргонизмы чаще всего обозначают конкретные действия: *камáть* (идти), *рингануть* (позвонить по телефону), *спичить* (говорить), *шейковáть* (танцевать). Существительных и глаголов с абстрактным значением немного: *лáйкать* (нравиться), *лак* (счастье, удача) и некоторые другие. Среди прилагательных большинство имеет узкое, конкретное значение: *блэкóвый* (черный), *однорумбóвый* (однокомнатный), *стрипóвый* (полосатый), *стрипóвый* (уличный), *хитóвый* (популярный), есть небольшая группа оценочных прилагательных: *бестóвый* (превосходный), *гудóвый*, *найсóвый* (хороший), *файнóвый* (прекрасный, очень хороший), *фулóвый* (плохой).

Иногда англоязычные жаргонизмы нарочито вульгаризованы: ср. *сэйшбн* (вечеринка), нейтральное *сэйшн*; *фазёр* (отец) и *фáзер*. Некоторые же слова исконно русского происхождения стали осмысляться как англицизмы, например, *клёвый* (хороший), *мáза* (удача; выгрыш; дело). А эти слова были известны еще в XIX веке бродячим торговцам — офеням и затем вошли в арго деклассированных слоев общества.

Возникновение жаргона с использованием англоязычных заимствований явилось, по-видимому, результатом подражательства некоторых молодых людей западному образу жизни. Из передач зарубежного радио, из книг, иностранных фильмов (часто пизкопробных, но воспевающих якобы роскошную жизнь на Западе) эта молодежь черпала свои собственные, нередко превратные, представления о зарубежном мире. К числу первых носителей жаргона с использованием англицизмов, очевидно, принадлежали те юноши и девушки, которые покупали у иностранных туристов разные ве-

щи, пластинки и пленки с записями зарубежной эстрадной музыки — словом, представители так называемой «золотой молодежи».

Однако жаргон не мог долго оставаться принадлежностью этой небольшой группы молодежи. В классе или в студенческой аудитории их сверстники слышали необычные слова, заимствованные из английского и переделанные на русский лад. А носители жаргона не считали нужным скрывать их и, скорее всего, щеголяли ими, как новыми джинсами. Благодаря массовому изучению английского языка эти слова были легко поняты и приняты многими юношами и девушками. Мода на новые жаргонизмы начала распространяться так же, как и мода на иностранные джинсы — постоянный атрибут молодого человека, стремящегося казаться сверхмодным.

Таким образом, молодежный жаргон — явление временное, преходящее, подверженное внешним влияниям. Им увлекаются, его используют как средство самоутверждения среди сверстников некоторые молодые люди. Со временем происходит своеобразная переоценка ценностей, и молодой человек осознает вульгарность привлекательного прежде жаргона. Но не следует думать, что увлечение жаргоном проходит само собой. Необходима упорная, настойчивая борьба со словами и выражениями, засоряющими русский язык, борьба за чистоту родной речи. При этом нельзя не учитывать, что жаргон — не изолированное явление, существующее само по себе, не причина, а следствие, проявление интересов, вкусов его носителей. Поэтому, разрабатывая меры борьбы против каждого конкретного жаргона, нужно выявить те социально-психологические факторы, которые обусловили его возникновение и распространение.

Борьба против жаргона — это не только борьба против определенных слов и выражений в речи молодежи, но и, в большей степени, против породивших данный жаргон представлений и убеждений некоторых молодых людей; борьба как за культуру речи, так и за культуру поведения. Всем, кто призван учить и воспитывать молодежь, следует понять всю сложность этого вопроса, увидеть в жаргоне не только языковое, но и социальное явление, соответствующим образом выработать конкретные меры воздействия, направленные против засорения нашего языка ненужными, вульгарными словами-жаргонизмами.

Е. Г. БОРИСОВА



РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Обращение к знакомому

Кажется, нет никакой трудности в том, чтобы обратиться к знакомому человеку. Ведь мы, естественно, знаем имя нашего знакомого или его имя-отчество, фамилию, а если это родственник, то и степень родства. Поэтому обращения, построенные из наименований родства и собственных имен,— *мама, бабушка, Петя, Виктор Семенович* и др.— не вызывают у нас затруднений. Вот, например, как можно назвать женщину — Валентину Ильиничну Кузьмину: *Товарищ Кузьмина, Валентина Ильинична, Валентина, Валя, Валечка, Валюша*, а в некоторых случаях ее могут назвать даже *Ильинична*. Обычно мы не задумываемся над таким языковым богатством. Между тем именно обилие разнообразных обращений к одному и тому же человеку позволяет нам менять тональность общения: от холодно-официальной или торжественной до дружески-фамильярной или интимно-ласковой. Не правда ли, одна тональность в обращении *Елена!* и совсем другая — в *Ленушка!*

В данной заметке мы остановимся на обращениях — собственных именах.

Обращение в форме полного паспортного имени — *Ольга, Николай* — используется сравнительно нечасто и (при привычном

Оля! Коля!) создает в какой-то степени официальную тональность общения, показывает серьезность предстоящего разговора, а иногда даже некоторое недовольство говорящего. Можно представить себе, например, такой разговор матери с дочерью: «Женя, сходи, пожалуйста, в магазин». И через некоторое время: «Евгения, я сколько раз должна повторять!». Правда, указанный оттенок получают те имена-обращения, которые способны давать сокращенную форму (*Оля, Коля, Женя, Валя* и т. д.). Некоторые же имена сокращенной формы не имеют, поэтому и употребляются как обращения в полной форме, естественно, уже без всяких оттенков: *Вера, Зоя, Нина, Игорь, Андрей* и др. Естественно, эти имена, как и все другие, дают уменьшительно-ласкательные суффиксальные формы: *Зоенька, Верочка, Игорек, Андрюша*.

Сокращенная форма имени в повседневном обращении к друзьям и родственникам (детям, внукам, братьям, сестрам и т. д.) наиболее употребительна и стилистически нейтральна. Интересно заметить, что в болгарском языке полными паспортными формами являются такие, например, имена: *Катя, Гриша*, женские имена *Петя, Вася, Ваня* и др. В русском языке это сокращенные формы.

Уменьшительно-ласкательные имена-обращения в нашем языке имеют, как правило, положительную эмоционально-экспрессивную окраску и применяются в интимно-дружеских, семейных отношениях. Сколько вариантов здесь существует! В «Словаре русских личных имен» Н. А. Петровского от всем известного *Владимир* приведено 24 производных имени! В том числе *Вава, Воля*, не очень широко употребительные. Характерно, что многие уменьшительные имена в современном употреблении встречаются именно в функции обращения: «Вовуля, пойди принеси хлеб!»; «Танюшенька, пора спать!». А в описательном контексте такие формы имен нежелательны: Вовуля пошел в магазин и принес хлеб; Танюшенька легла спать и т. п. Видимо, можно считать нормой XIX века имена *Николенька* в тексте Л. Н. Толстого, *Егорушка* — у А. П. Чехова.

Собственное имя с суффиксом *-к(а)* — *Колька, Наташка* — имеет иную эмоционально-экспрессивную окраску. Его типичное и частое употребление в среде детей, подростков вызывает порой недовольство взрослых, так как с ним связана грубоватая тональность общения. В самом деле, иначе и не воспринимаются такие, например, обращения: — Танька, иди сюда!; — Петька, перестань кричать! Но, как и в других случаях, здесь все дело в том, кто и к кому, при каких взаимоотношениях обращается. В среде подростков раскованность отношений, определенная фамильярность, во всяком случае, допустимы; эта же раскованность свидетельствует об интимной доверительности (при соответствующей интонации!) и в

обращении взрослых к детям в этой форме. Хотя, конечно, рекомендовать ее к употреблению не следует.

Несколько лет назад вышел на экраны фильм «Друг мой Колька». И реакция многих взрослых на такое название была отрицательной, о чем свидетельствовали многочисленные письма. Но разве авторы фильма хотели обидеть или принизить героя? Конечно, нет. Лев Васильевич Успенский, отвечая на протестующие письма, подчеркивал, что, кроме грубоватой фамильярности, такое имя может нести оттенок интимной доверительности. Впрочем, есть и ласкательные имена с этим суффиксом, такие, как *Дениска*, *Андрейка* и др. Они образованы чаще от имен, не имеющих сокращенной формы.

Особенно интересной, национально специфичной формой обращения к знакомому человеку является имя и отчество. Насколько удобно для русского обращаться к взрослому человеку, с которым он познакомился, по имени-отчеству, показывает следующий пример:

— Скажите, мистер Вагнер,— начал я, но он меня прервал.

— Меня зовут Дэн. Или Даня.

— Это уж очень по-американски. Айк, Джек... Как звали вашего отца?

— Оскаром.

— Так вот, Даниил Оскарович... Можно мне вас так называть?

— Пожалуйста, мне это будет только приятно (А. Крон. Бессонница).

Название по имени-отчеству — свидетельство определенной степени уважения к взрослому человеку. Неуважаемый взрослый может и не удостоиться этого, например:

«Это какой Гандрюшкин, Василь Захарович? — уточняю я.

— Не-ет... Этого Михаилом Евлентьевичем, а ребята так просто Мишкой зовут. И до самой смерти Мишкой останется, потому что труха — не человек» (Караханов. Обязательно встретимся).

Имя-отчество — уважительная официальная форма обращения. Хорошо знакомые люди, переходя к неофициальному, дружескому общению, называют друг друга по именам. Таким образом, тональность общения обеспечивается и такими средствами, как обращение по имени или по имени-отчеству.

В декабре 1978 года журнал «Работница» опубликовал письмо следующего содержания: молодые работницы, пришедшие на фабрику в коллектив женщин уже немолодых, но в силу дружеских отношений обращавшихся друг к другу по именам, тоже начали называть их по именам. Правы ли молодые? — спрашивала читательница. Конечно, неправы. Ведь имя-отчество указывает на уважение младшего к старшему, на уважение к малознакомому. По-

этому в приведенной ситуации возможно обращение только к имени-отчеству. Как видим, так хорошо известное нам и привычное имя-отчество требует соблюдения правил употребления.

Впрочем, из всякого правила есть исключения. Так, можно встретить шутливо-ироническое употребление имени и отчества применительно к маленькому ребенку (например, у врача или в гостях). А вот в книге А. Барто «Найти человека» есть такой эпизод. Во время Великой Отечественной войны Агния Львовна Барто посетила один из уральских заводов (тогда там работали только женщины, старики и дети) вместе с писателем Павлом Петровичем Бажовым. Барто пишет: «Я удивилась, когда Павел Петрович без тени улыбки назвал паренька лет тринадцати Алексеем Ивановичем. Оказалось, что Павел Петрович, узнав о мальчике, перевыполнившем норму, стал величать его по отчеству». Таким образом мальчику было выражено особое уважение, признание его «взрослости». Но это, конечно, случай нетипичный.

Встречается среди русских обращение только по отчеству, главным образом среди пожилых людей, чаще жителей деревни: Егоровна, Васильч. «Председатель решился, была не была, вприсядку. Раскинул руки, отставил ногу, потом другую — и пошел вокруг бригадириши. А та старалась, отбивала чечетку, передергивала плечами.

— Хватит, Сидоровна! Уморила ты меня!

— Ничего, Иваныч, хоть молодость вспомним» (Е. Сорокин. Продолжение подвига).

Отчество как самостоятельная форма обладает сложной двойной (и как будто бы противоречивой) характеристикой: в нем есть оттенок одновременно и уважительности, и фамильярности. Видимо, такое обращение иногда возможно и со стороны пожилого крестьянина, рабочего к молодому человеку, уважаемому специалисту. Так, пожилые рабочие на одном из нефтепромыслов называли своего начальника, 28-летнего инженера — Михалыч. А вот еще пример (пожилой колхозник обращается к молодому агроному): «— Гляди, Акимыч, Петька бегом к нам побежал... Что за оказия?

Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:

— Дедушка! Владимир Акимович! Там... Там два дерева... срублены... большие!» (Г. Троепольский. Гришка Хват).

Иные отношения собеседников обнаруживает обращение к знакомому (не родственнику): *тетя*, *дядя* + имя. Так называют преимущественно пожилых людей, занимающихся вспомогательным трудом: нянечку в школе или больнице, уборщицу, сторожа и т.п. Например: «Он подошел к столу, где сидел мужчина.

— Мне нужно видеть Астафьеву.

— Она на втором этаже,— сказал вахтер.— Тетя Катя! — крикнул он поднимавшейся по лестнице пожилой женщине.— Передай-те Елене Александровне, что к ней пришли...» (Г. Бокарев, Ю. Карасик. Самый жаркий месяц); «Уже несколько лет Алексей Герасимович на пенсии...

— Расставаться с шорным делом не собираетесь? — спросил я.

— Да как же расстаться! ..Здесь я с людьми. Куда ни пойду, все мне: „Здравствуйте, дедя Леша!“ Когда тебя приветствуют, то и работать хочется» («Советский экран», 1976, № 6).

Это обращение — ласковое и доверительное — возможно только в том случае, если человек, к которому так обращаются, охотно его принимает. В противном случае следует пользоваться именем-отчеством.

Есть еще и сугубо официальное обращение: *товарищ + фамилия* (товарищ Петров, товарищ Скворцов). В революционную пору такое обращение было типичным в кругу единомышленников, при этом *товарищ* сочеталось и с именем: *товарищ Андрей, товарищ Анна*, что неупотребительно в наше время (см. об этом: «Русская речь», 1980, № 3).

Наконец, существует обращение только по фамилии. Оно широко употребляется в школе, в учебных заведениях, видимо, под влиянием алфавитного списка и ежедневной переключки, например, в разговоре учительницы с учеником: «— Толя! — позвала я.

— Я вас слушаю очень внимательно.

— Вот что, Серов! Ты сейчас же раскланиваешься с друзьями и едешь в интернат!» («Литературная газета», 25 августа 1976).

Обращение по фамилии встречается и среди взрослых — коллег, оно имеет сниженный, несколько фамильярный оттенок: «Ты сумасшедший, Сапожников,— сказал Глеб» (Анчаров. Самшитовый лес). Именно поэтому такое обращение оказывается недостаточно уважительным со стороны начальника к подчиненному (если здесь нет отношений учителя и ученика, старого мастера и молодого рабочего), особенно в официальной обстановке, и его следует избегать, заменяя в одних случаях именем-отчеством, в других обращением *товарищ + фамилия*.

Как видим, мы выбираем такие обращения, которые в наибольшей степени соответствуют характеру общения в данный момент, в зависимости от характера взаимоотношений говорящего и его собеседника, а также от официальности или неофициальности обстановки общения.

Н. И. ФОРМАНОВСКАЯ

Рисунок С. Гавриловой

СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Собиранием слов какого-либо языка, приведением их в систему и изданием в виде словаря занимается одна из старейших областей языкознания — лексикография (от греческих слов *lexikós* — словарный и *graphō* — пишу). Работа над словарями, перечнями слов ведется с античных времен, благодаря чему мы располагаем источниками необыкновенно ценной информации, интересной не только для историка науки и культуры, но и для всех ценителей и любителей слова. История русской лексикографии также одна из интереснейших страниц в развитии национальной культуры, науки, просвещения. Первые словарные опыты, известные на Руси с XIII века, представляли собой небольшие списки слов с объяснениями, которыми переводчики и переписчики снабжали древние рукописи.

От XVI—XVIII веков до нас дошло значительное число рукописных словарей и словариков, называвшихся тогда «Азбуковниками», «Алфавитами», «Лексиконами». Эти словари преследовали прежде всего учебную цель, они использовались при обучении грамоте, переводческому делу. В конце XVI века, в 1596 году, появился первый печатный восточнославянский словарь — «Лексис» Лаврентия Зизания. Полное название этой книги раскрывает ее содержание: «Лексис, сиречь речения, вкратце собранные, из словенского языка на проты русский диалект истолкованы». От XVII века до нас дошел «Лексикон славеноросский и имен толкование» Памвы Беринды, а в самом начале XVIII века в Москве был издан «Лексикон трехязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских» Федора Поликарпова.

В XVIII веке усилия русских словарников сосредоточивались в основном на составлении двуязычных и многоязычных словарей. Это вызывалось потребностью расширения международных связей,

развитием переводческого дела, распространением школьного образования и изучением иностранных языков. Словарная работа теснейшим образом связывалась и переплеталась со всеми сторонами общественной жизни, культуры, образования.

Общий подъем русского национального самосознания, значительный рост науки, культуры, обогащение и развитие русского языка вызвали появление первого большого толкового словаря русского языка — «Словаря Академии Российской» (1789—1794), второе издание вышло под названием — «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (1806—1822). Этот Словарь заслуженно считается одним из самых замечательных достижений русской лексикографии. В XIX веке были изданы также «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), академический «Словарь русского языка» (под редакцией Я. К. Грота. Т. 1 — 1893—1895) и другие. В начале второй половины XIX века выходит в свет знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля — плод его более чем пятидесятилетней подвижнической деятельности по собиранию и обработке живого народного слова.



История русской лексикографии советского времени богата интересными поисками и находками в области теории и практики составления словарей. У ее истоков стоял В. И. Ленин, придававший огромное значение культурному строительству молодой Советской республики. В ряде документов В. И. Ленин настоятельно высказывает мысль о необходимости создания словаря русского языка и в общих чертах определяет его задачи и характер. По мнению В. И. Ленина, словарь должен быть «для пользования и учения всех», «настоящего русского языка», словарем «слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького». В. И. Ленин считал, что создание такого словаря было насущно необходимо в связи с заметными изменениями в составе русского литературного языка и появлением нового читателя, который стремился овладеть всеми достижениями культуры.

В работе над словарем по ленинскому плану были привлечены видные лингвисты-русисты и литературоведы: Д. Н. Ушаков, А. С. Орлов, С. П. Обнорский, М. Н. Петерсон, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба и др. По ряду причин эта замечательная идея не была реализована в 20-е годы. Но ленинская мысль в значительной мере воплощена в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—1940).

Как первый опыт нормативного словаря современного русского литературного языка Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова представляет собой крупное явление в истории лексикографии. В нем представлена лексика художественной литературы от Пушкина до Горького, специальная научная, техническая, общественно-политическая и производственная терминология, получившая широкое распространение в общем употреблении. Относительно полно отражены изменения в словарном составе русского языка после Великой Октябрьской социалистической революции. Это был первый словарь, описавший более 85 тысяч слов современного русского литературного языка. В нем впервые в истории русской лексикографии широко и последовательно применяется детально разработанная система стилистических помет, указывающих на сферу употребления слова, на историческую перспективу, на его стилистическую природу, на эмоционально-экспрессивные оттенки слова.

«Толковый словарь русского языка» сыграл огромную роль в упорядочении орфографии русского языка 30-х годов. Это первый большой словарь русского языка, в котором слова давались в новой орфографии. До сих пор он сохраняет свое значение как справочник по современному словоупотреблению, хотя многие его характеристики и рекомендации уже устарели.

В конце 30-х годов возникает идея создания нового словаря, отражающего состояние русского литературного языка наших дней. Им стал «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах (1948—1965). В нем собрано и истолковано более 120 тысяч слов, употребляемых в русском языке XIX—XX веков. Основной задачей Словаря было развернутое описание норм современного словоупотребления и показ лексико-фразеологического богатства русского литературного языка. Важной особенностью 17-томного Словаря, отличающей его от всех предшествующих словарей русского языка, является широкое включение в его состав производных слов, а также широкий, последовательный и систематический показ фразеологических сочетаний русского языка. Особую ценность представляет богатый иллюстративный материал, сопровождающий каждое значение, каждый оттенок значения и употребление слова.

В Словарь включены устаревшие слова, не употребляющиеся в современном литературном языке, но живые и употребительные в языке XIX века, слова, обозначающие явления старой жизни, старого быта, историзмы. Мы находим здесь и иноязычные заимствования, прочно усвоенные русским языком, просторечные слова, новые слова, рожденные советской действительностью, производственные, научные, технические и т. п. термины. В нем даны

географические наименования и имена собственные, употребляющиеся в языке в переносном смысле, различного рода сокращения.

Лексико-фразеологический материал получил в Словаре всестороннюю и глубокую семантическую, грамматическую и стилистическую характеристики в соответствии с уровнем лингвистической теории нашего времени. Детальная смысловая и литературно-историческая разработка словарных статей, продуманная система стилистических помет, широкий охват лексики — все это делает 17-томный Словарь неоценимым пособием по культуре русской речи. Он является своеобразным справочником, источником для исследования лексических, грамматических, семантических и стилистических процессов в русском литературном языке XIX—XX веков.

В разработке принципов и в создании Словаря принимали участие академики А. С. Орлов, С. П. Обнорский, И. И. Мещанинов, Л. Ф. Щерба, В. В. Виноградов, члены-корреспонденты АН СССР В. И. Чернышев и Е. С. Истрина. Труд словарников по созданию «Словаря современного русского литературного языка» в 1970 году отмечен Ленинской премией. Лауреатами стали академик С. П. Обнорский, члены-корреспонденты АН СССР Ф. П. Филин, С. Г. Бархударов, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина и доктор филологических наук А. М. Бабкин.

Когда работа над 17-томным Словарем только начиналась, было принято решение о создании словаря меньшего объема, рассчитанного на более широкий круг читателей. В 1957—1961 годах издан 4-томный «Словарь русского языка», так называемый Малый академический словарь, отражающий нормы литературного словоупотребления 50—60-х годов нашего века.

Вскоре после Великой Отечественной войны вышел в свет одготомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова. Основная задача Словаря — отражение норм русской литературной речи, сложившихся в советскую эпоху. Этот Словарь стал самым распространенным и общедоступным толковым словарем русского языка (вышло 12 изданий: 1-е — 1949, 12-е — 1978).



Начиная с 50-х годов в Академии наук ведется лексикографическая работа в двух направлениях: с одной стороны, создаются труды, предназначенные быть источниками для изучения истории русского языка, для историко-лексикологических, диалектологических, этимологических и т. н. исследований, а с другой — составляются словари, служащие пособием по культуре русской речи, справочниками по современному литературному словоупотребле-

нию для широких кругов читателей. Именно в эти годы в советской русистике выдвигается и теоретически обосновывается идея создания системы словарей, в своей совокупности способных отразить основные черты русского языка в современном состоянии и в историческом развитии. Эта идея постепенно претворяется в жизнь.

Институтом русского языка АН СССР изданы два словаря-справочника — «Русское литературное произношение и ударение» (1955 и 1959) и «Орфографический словарь русского языка» (вышло 15 изданий: 1-е — 1956, 15-е — 1978). В это же время вышел четырехтомный «Словарь языка Пушкина» (1956—1964) — первый в нашей стране полный словарь одного писателя. После его публикации заметно оживляется работа по подготовке словарей языка других художников слова: М. Горького, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Ломоносова, Н. Гоголя, С. Есенина, Н. Чернышевского.

В последние десятилетия активизировалась лексикографическая разработка русской синонимии, антонимии и фразеологии. В 1956 году В. Н. Ключева составила «Краткий словарь синонимов русского языка», предназначенный для школ (переиздан в 1961 году). Затем вышел в свет однотомный «Словарь синонимов русского языка» (1968) З. Е. Александровой. Большим событием в области русской лексикологии является издание в 1970—1971 годах двухтомного «Словаря синонимов русского языка» (главный редактор А. П. Евгеньева). Это первый в отечественном языкознании опыт полного описания синонимов русского языка.

Полезным пособием по культуре речи стал словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (1973). Он охватывает не всю лексику современного русского языка; в него включаются лишь те факты, которые допускают вариантность, вызывают колебания и трудности или ведут к нарушению норм литературного словоупотребления. Ближе по своим целям и задачам к этому справочнику стоит «Словарь трудностей языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой (1976).

В 1967 году группа лексикографов под руководством А. И. Молоткова выпускает в свет «Фразеологический словарь русского языка», в котором собрано и истолковано около 4 тысяч наиболее употребительных в русском языке фразеологических сочетаний. Словарь выдержал уже три издания.

60—70-е годы ознаменовались также работой по собиранию и изучению диалектной лексики, в том числе по созданию словарей, отражающих лексику русских народных говоров. В это время появляется ряд словарей, подготовленных в вузах различных городов нашей страны: «Краткий ярославский областной словарь» Г. Г. Мельниченко, «Словарь русских старожильческих говоров

редней части бассейна р. Оби» под редакцией В. В. Палагиной, «Псковский областной словарь», «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» и другие. Самым значительным предприятием в области диалектной лексикологии и лексикографии является «Словарь русских народных говоров». Этот капитальный лексикографический труд, создающийся по инициативе и замыслу Ф. П. Филина, обобщает материалы по диалектной лексике и фразеологии с начала XIX века до наших дней. Всего намечается составить 40 выпусков.

Русское языкознание всегда проявляло большой интерес к исторической лексикологии и лексикографии. Этот интерес не ослабевает и в советское время. Так, в 1925 году академик А. И. Соболевский выступает в Академии наук с докладом о необходимости подготовки материалов для Словаря древнего и старого русского языка. Предложение находит широкую поддержку и вскоре начинается работа по собиранию лексических материалов для будущего словаря, в которой принимают участие виднейшие филологи Москвы и Ленинграда. Была создана известная в филологических кругах картотека древнерусского словаря, на основе которой в настоящее время составляется «Словарь русского языка XI—XVII вв.».

Развитие сравнительно-исторического изучения языков, интерес к происхождению русских слов вызвали появление этимологических словарей. К двум известным словарям — «Этимологическому словарю русского языка» А. Преображенского и «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера — добавились выпуски «Этимологического словаря русского языка» под редакцией Н. М. Шанского и «Краткий этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова, Т. В. Шанской. С 1974 года выходит отдельными выпусками большой «Этимологический словарь славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева.

Особую актуальность приобретают издающиеся в последнее время учебные словари: в 1978 году изданы «Краткий толковый словарь русского языка для иностранцев» под редакцией В. В. Розановой и «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» под редакцией П. Н. Денисова и В. В. Морковкина. Учебные словари составляют новую отрасль советской русской лексикографии, возникновение и развитие которой связано с ролью русского языка как языка межнационального общения народов СССР и одного из наиболее распространенных мировых языков.

Для изучения русского литературного языка важное значение имеет вышедший в 1979 году «Словарь эпитетов русского литературного языка» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло (подробнее см. в этом номере).

За более чем двухсотлетний период непрерывного развития русская лексикография выработала свои принципы, характерные только для нее. В нашей лексикографии отразились традиции русской лингвистической школы, они определили ее характер, составили ее существо. Это — учение о слове, учение о лексической системе, о функциональной роли языка и изучение семантики в широком культурно-историческом аспекте.

В отборе материала, в способах разработки значений и оттенков значений, в приемах грамматической характеристики слова советская лексикография опирается на опыт предшествующих академических словарей. Сохраняя верность лучшим традициям, советская лексикография подчеркивает непрерывность духовного и культурного развития русского народа. Одной из наиболее ярких черт этой традиции является признание гуманитарного содержания лексикографии, ее обращенности к человеку. Социальная и общественная значимость словарей в наши дни проявляется особенно ярко. Это связано с культурной функцией литературного языка, которая выделяет его не только как орудие мышления и общения в области литературного и духовного развития, но и как орудие социальной борьбы, как средство воспитания народных масс.

Создание любого словаря является комплексной научной проблемой, а его выход в свет — важное событие в культурной жизни народа. Время, запечатленное в словах, социальные процессы, общественные взгляды и течения — все находит отражение в словарях. Вот почему словари и лексикографию в целом называют «общественным рычагом наук, стремящихся выработать общий для всех людей рациональный взгляд на мир» (В. Дорошевский).

Русская лексикография советского времени является важнейшим средством распространения и утверждения норм литературной речи и повышения общей языковой культуры. Печать, радио, телевидение, школа, театр постоянно обращаются к словарям. Они помогают населению национальных республик овладеть русским языком. За пределами нашей страны словари содействуют распространению русского языка и знаний о советской действительности.

Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ
Ленинград

ЛЕКСИКОГРАФИЯ

СЛОВАРЬ
ЭПИТЕТОВ
РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА



Появление «Словаря эпитетов» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло (Л., «Наука», 1979) — большое событие в изучении русского литературного языка. И не только русского. «Словарь эпитетов» дает в руки филологов интереснейший материал для размышлений о природе слова вообще, о сочетаниях слов — в частности и в особенности. До сих пор такого «Словаря» у нас не было, если не считать маленького, давно уже устаревшего справочника А. Зеленецкого (1913) и учебного пособия Н. В. Ведерникова (1975).

В свое время известный русский филолог А. Н. Веселовский (1838—1906) справедливо считал, что «история эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании» (см. его книгу «Историческая поэтика». Л., 1940, с. 73). Вместе с тем эпитеты и их история интересны не только для поэтики, но и для лингвистики, для понимания особенностей сочетания слов, прежде всего в большой сфере имен существительных и прилагательных.

Известны два основных истолкования эпитетов — более широкое и более специальное. Согласно первому, всякое определение к определяемому является эпитетом (например, *большой дом* или *красивый человек*), согласно второму, эпитетом оказывается лишь такое определение, которое приобретает ту или иную особенность, нешаблонность (например, *причудливый дом* или *голодный человек*). С этой, второй позиции в сочетании *голубое небо* нет эпитета (здесь только определение), а в сочетании *свинцовое небо* определение *свинцовое* выступает как эпитет к определяемому (к *небу*). Еще придется вернуться к этим истолкованиям, сейчас же приведем определение эпитета из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова и «Словаря лингвистических терминов» О. С. Ахмановой: *Эпитет* — «В поэтике: опреде-

ление, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности» (С. И. Ожегов); «Разновидность определения, отличающаяся от обычного экспрессивностью, переносным... характером» (О. С. Ахманова).

Оба автора учитывают и связь эпитета с определением вообще (со всяким определением), и своеобразие эпитета как важнейшего элемента поэтической речи в самом широком смысле прилагательного *поэтический*. Думается, что так и следует подходить к анализу эпитетов. Так поступили и авторы «Словаря эпитетов». В него они включили и эпитеты, и «простые» определения, но при этом стремились разграничить и те, и другие. Все это помогло авторам превратить их справочник не только в руководство по поэтике, но и в руководство по лингвистике (прежде всего — проблема сочетаемости слов).

В 1836 году, незадолго до своей гибели, Пушкин, как всегда проникновенно, писал: «...разум неистощим в соединении понятий, как язык неистощим в соединении слов». Изучая «Словарь эпитетов», убеждаешься, насколько глубоко был прав Пушкин. Язык действительно неистощим в соединении слов. Вот только песколько цифр: к слову *боль* авторы приводят 120 эпитетов и определений, к слову *взгляд* — уже свыше 200, к слову *глаза* — 300, а к слову *мысль* — свыше 300 эпитетов и определений. И таких примеров можно привести почти столько же, сколько включено имен существительных в «Словарь эпитетов».

Проблема, однако, не сводится к цифрам. Гораздо важнее внутренняя, смысловая сторона подобной «неистощимости в соединении слов». Обратим на нее внимание.

Высоко оценивая «Словарь эпитетов» в целом, проанализируем, хотя бы кратко, трудности, с которыми столкнулись его авторы. Трудным оказалось прежде всего само разделение прилагательных на «прилагательные-эпитеты» и на «прилагательные-определения» («просто прилагательные»). Уже в ранее приведенных примерах (*голубое небо*, *свинцовое небо*) возникает такая трудность. Разумеется, *голубое небо* более обычно, более традиционно, чем *свинцовое небо*, но как провести здесь пограничную линию между обычным и не совсем обычным употреблением? Дело в том, что в известных случаях и *голубой* может приобрести функцию эпитета. Если сочетание *голубое небо* обычно, то *голубые небеса* уже менее обычно и приближается (*голубые*) к эпитету. Возникает и трудность жанровая: если в разговорной речи прилагательное *голубой*

Всегда только определение (*голубое небо*), то в поэзии *голубой* гораздо более многозначно, и поэтому его шансы превратиться в эпитет здесь гораздо выше, чем в разговорной речи.

Общие трудности выделения эпитетов обуславливаются двумя основными причинами: 1) многозначностью подавляющего большинства слов любого естественного языка, в том числе, разумеется, и русского (объективная трудность), 2) мастерством выдающихся прозаиков и поэтов (субъективная трудность).

Само прилагательное может быть ближе к определению, чем к эпитету, но в сочетании с другим прилагательным или с существительным другого стилистического плана одно определение или даже оба определения предстают уже как эпитеты. *Синие* глаза, например,— простое определение (*синие*), но в *синие* очи прилагательное *синие* начинает свое движение в сторону эпитета, а в строках А. Блока «И очи *синие бездонные* Цветут на дальнем берегу» (Незнакомка) оба определения оказываются «чистыми» эпитетами. Это наблюдается не только в поэзии, но и в прозе. У К. Федина, например: «Вера Никандровна смотрела на нее... *всевидящим, безжалостным и стремительным* взглядом...» (Первые радости) — три эпитета подряд.

Хотя многозначность слова (полисемия) и осложняет составление «Словаря эпитетов», она же вместе с тем делает эту работу и важной, и интересной. Существительное *авторитет*, например, при положительной оценке вызывает совсем иной ряд эпитетов (*солидный, непоколебимый, устойчивый* и множество других, близких к простым определениям — *большой, громадный*), чем при отрицательной оценке (*дешевый, дутый, шаткий, липовый* и пр.). При этом отрицательная оценка обычно окрашена более эмоционально, чем оценка положительная, поэтому ряд отрицательных определений ближе к эпитетам, чем ряд определений, относящихся к положительной оценке самого существительного *авторитет*.

*

Весьма интересны и индивидуальные, часто неожиданные эпитеты, встречающиеся у выдающихся мастеров прозы и поэзии. *Брови*, например, могут быть *бесхарактерными, ласковыми, смелыми*; *вода* — *ленивая, озорная, тихоструйная*; *волна* — *девственная, тихо-спящая, чешуйчатая*; *глаза* — *зимние, иглистые, камышовые*; *гром* — *добрый, светлый, щедрый*; *грусть* — *живая, нежная, эгипетская*; *губы* — *добрые, добродушные, хитрые*; *шутка* — *легкокрылая, просоленная, исхлестанная* и т. д. Такие примеры (их в «Словаре» тысячи) особенно поучительны. Они вновь и вновь напоминают нам о безграничных возможностях русского языка.

В сфере индивидуально возможных сочетаний слов язык действительно не знает пределов. В 1823 году Пушкин сообщал П. А. Вяземскому о своих занятиях: «...я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». Здесь имя существительное *разница* получает, казалось бы, невозможный, но у Пушкина вполне возможный эпитет — *дьявольская*. Такой эпитет остается, разумеется, индивидуальным. На базе общих возможностей и ресурсов языка великие новаторы создают свое, индивидуальное, неповторимое, незабываемое. И это тоже одна из великих тайн языка.

К слову *мысль* в «Словаре» находим свыше трехсот эпитетов. Их не так просто разделить на группы. *Мысль*, как известно, может быть и *глубокой* (к такой мысли примыкает один ряд многочисленных эпитетов), и *поверхностной* (к ней примыкает совсем другой ряд эпитетов), и *справедливой*, и *несправедливой*, и т. д. И в каждом случае формируется новый ряд эпитетов, обычно не повторяющий или лишь частично повторяющий предшествующие ряды эпитетов. В тех же случаях, когда повторения все же наблюдаются, составителям «Словаря» следует напомнить об этом. Эпитет *абстрактный*, например (сам по себе он ближе к простому определению), приложим и к мысли *справедливой*, и к мысли *несправедливой*, и к мысли *зрелой*, и к мысли *незрелой*, и т. д. Все это — опять-таки свидетельство огромных внутренних возможностей языка, его неисчерпаемых резервов.

Хотя эпитеты, как мы уже знаем, обычно «тянут» за собой простые определения и тем самым дают возможность критиковать «Словарь эпитетов» за его непоследовательность (где же «чистота» самих рядов эпитетов?), подобная «слабость» справочника одновременно составляет и его же сильную сторону.

Вот только один пример. Из «Словаря» мы узнаем, что *берег* может быть *болотистым*, *высоким*, *вязким*, *глинистым*, *крутым*, *нагорным*, *отлогим*, *отмельным*, *пологим*, *сыпучим*, *топким*, *шхерным* и т. д. Таких определений — десятки почти у каждого имени существительного. И хотя подобные прилагательные ближе к простым определениям, чем к собственно эпитетам, первые дают возможность читателям раздвинуть свои знания русского языка, еще раз убедиться в неисчерпаемых его ресурсах, глубже понять материальные и идеальные свойства предметов и явлений окружающего нас мира, наконец, убедиться во взаимодействии определений и эпитетов. Познавательная ценность «Словаря эпитетов» от такого «смещения» только увеличивается.

В анализируемом «Словаре» приводится около четырехсот имен существительных с относящимися к ним эпитетами. Остается не совсем ясно, как отбирались имена существительные, какие из

них попали в «Словарь» и какие оказались за его пределами? Таких «почему», адресованных авторам «Словаря», может быть немало. Насколько полно были использованы для «Словаря» тексты выдающихся русских прозаиков и поэтов? Почему, например, в знаменитом стихотворении великого русского лирика Тютчева («Люблю глаза твои, мой друг...») эпитет *пламенно-чудесные* не попал в группу эпитетов, относящихся к глазам. Почему забыт знаменитый эпизод из «Войны и мира» Толстого (т. 2, ч. 3, гл. 13), в котором Наташа в разговоре с матерью характеризует Бориса эпитетами *узкий, серый, светлый*, а Пьера — эпитетами *синий, темно-синий с красным, четверугольный* (индивидуальные эпитеты к слову *лицо*, так как существительное *человек* в «Словаре», к сожалению, не находится).

Но дело, разумеется, не в отдельных «почему», а в том, что ценители и любители хорошего русского языка получили в целом отличную книгу. Эта книга дает возможность задуматься и над важными вопросами теории языка, теории слова. Вот два из таких вопросов.

Первый вопрос: богатейший материал «Словаря эпитетов» дает возможность вполне наглядно убедиться в принципиальном различии между естественными языками и так называемыми кодовыми построениями. Кодовые построения или информационные языки обычно создаются искусственно для тех или иных технических целей. Споры нет: в наш век научно-технической революции такие средства общения тоже нужны, их практическая ценность очевидна. Вместе с тем лингвисты обязаны понимать глубокое и принципиальное различие между природой естественных языков народов мира и кодовыми (информационными) построениями. Природа естественных языков полифункциональна и бесконечно богата, она связана со всей культурой каждого народа, природа же искусственных кодов — однозначна и ограничена их чисто информационным назначением.

Второй вопрос: несмотря на известную относительность разграничения определений и эпитетов, все категории языка всегда сохраняют свою объективность, определяемую объективностью бытования каждого естественного языка каждого народа.

*

«Словарь эпитетов русского литературного языка» поможет всем читателям, желающим говорить и писать просто, по вместе с тем ярко и выразительно. Против казенного языка и языковых штампов всегда выступал В. И. Ленин, всегда выступали выдающиеся русские писатели. «Словарь» еще раз напоминает всем нам

о безграничных ресурсах русского языка (следует не забывать пушкинского суждения о «неистоцимости языка в соединении слов»). Эти ресурсы надо постоянно изучать, беречь и развивать дальше как бесценное народное достояние. В 1755 году М. В. Ломоносов в предисловии к своей «Российской грамматике», отмечая большие возможности русского языка, вместе с тем предупреждал: «И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, по недовольному [т. е. недостаточному.— Р. Б.] своему в нем искусству приписывать долженствуем». Об этом завете Ломоносова нужно не только всегда помнить, но и претворять его в жизнь, постоянно расширяя, укрепляя и совершенствуя наше знание родного языка.

Все это весьма актуально и сейчас. Совсем недавно, в частности, Сергей Залыгин в статье «Литература и природа» («Правда», 10 марта 1980) совершенно справедливо писал о том, как часто наши слова не выдерживают экзамена «...на точность, на простоту, на смысл, на безупречность», на ясность самого выражения мыслей и чувств.

Р. А. БУДАТОВ

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«В „Литературной газете“ за 23 апреля 1980 года в заметке Л. Комарова «Что такое „тезаурус“?» рассказано о новом издании «Словаря иностранных слов» (1979), но, к сожалению, не расшифрован термин *тезаурус*. Что он означает?» — спрашивает Л. Т. Спирин из Ленинграда.

Тезаурус [греч. *thesaurus* — запас] — 1) лингв. словарь языка с полной смысловой информацией; 2) в информатике — полный систематизированный набор данных о какой-л. области знания, позволяющий человеку или вычислительной машине в ней ориентироваться.

ИСТОКИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ



ак известно, современный русский литературный язык делится на две основные разновидности: письменный язык и живую разговорную (литературную) речь, повышенный интерес к которой отмечается в последние годы. Литературному письменному языку, представляющему собой обработанную и нормированную форму общенародного языка, мы учимся в школе, институте, по грамматикам и словарям, при чтении разнообразной литературы, в процессе общения с людьми, владеющими литературным языком. Нормы литературного языка считаются общеобязательными и образцовыми для всех, кто владеет и пользуется этим языком, независимо от социальной, профессиональной и территориальной принадлежности.

В понятие разговорной (литературной) речи разные лингвисты вкладывают разное содержание. Под разговорной речью понимают: 1) любую устную речь, будь то научный доклад, или обиходный разговор; 2) устную речь городского населения; 3) бытовую речь. Но чаще всего под нею подразумевается речь людей, владеющих литературным языком, — неподготовленная, происходящая в условиях непосредственного общения, при отсутствии официальных отношений между говорящими.

Неподготовленность, непринужденность, неофициальность (последняя в особенности) считаются основными внеязыковыми характеристиками разговорной речи. Устранение этих признаков неизбежно меняет тип речи. Помимо этого можно назвать и дополнительные характеристики разговорной речи: чаще всего она бывает устной, в форме диалога, спонтанной и эмоциональной, зависит от ситуации и проявляется в обиходно-бытовой сфере. Эти характеристики названы дополнительными ненапрасно. Хотя разговорная речь обнаруживается преимущественно в устной форме, она не может быть отождествлена с устной речью. Ведь существует устная форма книжной речи (лекция, доклад, публичное выступление и под.); а кроме того, разговорная речь может быть зафиксирована в письменном виде (частные письма, записки), хотя обычно очень неполно.

Важная роль в разговорной речи отводится мимике, жесту, интонации, которые не только сопутствуют словам, фразам, но порой и заменяют их.

За каждым из двух типов литературного языка закреплены как нейтральные, так и стилистически окрашенные средства выражения: книжные или разговорные. В толковых словарях соответственно они имеют пометы *книжн.* и *разг.* Постановка таких помет в словаре означает, что слово, значение слова, вариант слова, фразеологизм и т. п. имеют постоянную стилистическую окрасченность.

Если внимательно рассмотреть слова с пометой *разг.* в толковых словарях современного русского языка, то можно установить, что русская разговорная речь не состоит только из слов, имеющих эту помету. В любом виде речи: и в устной непринужденной беседе, и в научных статьях, и в художественной литературе, и в официальных документах — основную часть составляют слова, общие для всех стилей. Слова же, отмеченные в толковых словарях пометой *разг.*, — это всего одна десятая часть словарного состава русского языка.

Разговорная речь — явление глубоко историческое. Она связана с одной из основных сфер общения, а именно со сферой быта, каждодневного обихода, в которой с наибольшей отчетливостью проявляется коммуникативная функция языка.

Надо иметь в виду, что в дореволюционной лексикографии помета *разг.* не использовалась. Вместо нее любое разговорное слово в отличие от книжного, высокого, сопровождалось пометой «просторечное». Для круга же слов, свойственных речи соци-

альных низов, использовалась помета «простонародное» (см.: Г. Н. Складневская. «К вопросу о лексикографических понятиях „разговорное“ и „просторечное“». Сб. Лингвистические исследования. Л., 1970, с. 10). Однако состав просторечной лексики XVIII века, по данным словарей, оказывается неоднородным и очень мало урегулированным. Так, в «Словаре Академии Российской» (1789—1794) наблюдается смешение и тесное соприкосновение просторечного и простонародного. К «просторечной» и «простонародной» лексике отнесены: 1) слова, распространенные в разговорной речи различных слоев, противостоящие только словам книжным, высоким, например: *корова* (крава, сл.) *крыша* (кровля, сл.); 2) слова, наделенные особой экспрессивной фамильярностью, грубости, противостоящие словам нейтральным, например: *жрать*, *головира*; 3) наконец, слова, по своей семантике связанные с народным, крестьянским бытом или с отдельной диалектной средой, например: *бубен* (*бедняк*), *кобениться* (*важничать*).

Вполне естественно, что слова, относимые к первой группе, вскоре стали оцениваться как нейтральные (*быт*, *жара*), а многие слова третьей группы оказались за пределами общего литературного употребления и сохранили областной характер (*глази* — «зевака», *курень* — «дом, изба»). Показательной для просторечия впоследствии стала вторая группа, в которой резкая экспрессия, выражение грубости, фамильярности, подчеркнутой простоты стали основными признаками этого понятия (*глазеть*, *дрыгнуть*, *шущера*).

С первой третью XIX века начался новый этап в развитии русского литературного языка — этап воздействия на него произведений Крылова, Грибоедова, Пушкина. Элементы просторечия широко начали входить в произведения реалистической литературы, а литература становилась образцом для подражания в разговорной практике образованных людей того времени.

На основе взаимодействия просторечия с литературным языком создается общий тип разговорной речи, входящий в состав литературного языка. Однако толковые словари русского языка начала и середины XIX века не отражают изменений, происходящих в развивающемся литературном языке, так как во всех словарях, издававшихся во второй половине XIX века, наблюдается практический отказ от принципов нормализации языка.

Первым словарем, разработавшим полную и детальную систему отнесения слов к тем или иным стилям речи, был «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—

1940). В этом словаре впервые употребляется помета «разговорное», которая потом широко входит в лексикографическую практику. Паряду с этой пометой сохраняется традиционное «просторечное», получившее в словарях советского периода новое содержание.

Если проследить, как раскрывается смысл пометы «разг.» в советских толковых словарях русского языка, то станет очевидным, что в определениях этой пометы отразились глубокие размышления крупнейших наших лексикографов о функционально-стилистическом и экспрессивно-стилистическом расслоении лексики современного русского языка.

Так, Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова отмечает двойственность слов с пометой *разг.*: 1) собственное, прямое употребление в разговорной речи, не нарушающее норм литературного языка; 2) несобственное употребление в книжном контексте, дающее стилистический эффект: слово или значение, имеющее эту помету, «употребленное в книжном языке, придает данному контексту некнижный, разговорный характер». Словарь С. И. Ожегова добавляет к этому: 1) ограничение сферы употребления (бытовые отношения, обиход), 2) непринужденность речи. 4-томный академический словарь связывает разговорную лексику преимущественно с устной речью, отмечая, что слова, имеющие помету *разг.*, «в значительной своей части представляют синонимы с различными смысловыми и эмоциональными оттенками к словам книжным, литературным». Виднейшие советские языковеды, члены главной редакции 17-томного академического словаря исходят из единства современного русского литературного языка, не исключая при этом существования нескольких стилей живой разговорной речи, и главное, напоминают не только об условности границ между книжной разновидностью литературного языка и стилями живой разговорной речи, но и о той опасности для полнокровного развития литературного языка, которая таится в его отрыве от живого просторечия.

Разговорная лексика неоднородна по своему составу. Она объединяет: 1) слова, являющиеся смысловыми синонимами к словам литературным, *неотложка, галёрка, зачетка*; 2) слова, в значении которых содержится яркая экспрессия, эмоциональная оценка, и поэтому такие слова имеют обычно вторую помету в словаре — *бран. неодобр., презр., пренебр.*: *болван, жадина, дармоедничать*; 3) слова, обозначающие предметы, явления и действия «бытовой» сферы жизни: *авоська, телогрейка, готовка*;

4) слова, имеющие в нейтральной лексике соотносительные им слова того же корня, но отличающиеся своим словообразовательным строением — суффиксами, приставками, окончаниями: *браслет — браслетка, петь — распеться, деньги — деньжата*; 5) слова, отличающиеся от нейтральных местом ударения: *дбговор — договёр, фольга — фбльга, грёнки — грёнкй*; 6) слово или одно из его значений, которое становится разговорным, когда начинает употребляться переносно, переходя в другую стилевую сферу: *лиса* («о хитром, лстивом человеке»), *баба* («о слабохарактерном мужчине»).

Согласно старой лексикографической традиции, считается, что разговорная лексика распространена преимущественно в сфере бытового употребления. Как правило, разговорные слова концентрируются вокруг обиходно-бытовых отношений, того, что видит человек каждый день, о чем думает, что вызывает у него смех, или осуждение и т. п. Житейская мудрость, знание людей, их слабостей, пороков и недугов — все это отражает разговорная лексика.

Известную трудность для составителей словарей представляет проблема разграничения разговорных и просторечных элементов. Имея много общего, разговорная и просторечная лексика различаются по степени сниженности, зависящей от доли экспрессии, и по отношению к норме.

Одним из критериев разграничения этих лексических разрядов иногда могут служить особенности словообразования, более характерные для того или другого стилистического пласта. Существует ряд суффиксов, наиболее характерных для разговорных или просторечных слов. Например, в просторечии широко употребляются существительные с суффиксами *-уга, -юга, -ага, -яга, -ыга, -уша, -ога* (*деляга, жадюга, копуша*); прилагательные с суффиксом *-аст* со значением избытка какого-либо качества (*брюхастый, носастый, усастый*); глаголы однократного действия с суффиксом *-ану* (*долбануть, сказануть, пугануть*). Такие словообразовательные модели могут использоваться в разговорной лексике, но все же преимущественно закреплены за лексикой просторечной [Ср. *сыпануть* (прост.) — *сыпнуть* (разг.), *пугануть* (прост.) — *пугнуть* (разг.)]. Глагол может перейти из разряда разговорных в разряд просторечных, если к нему прибавить *-ся*: *маячить* (разг.) — *маячиться* (прост.), *постирать* (разг.) — *постираться* (прост.).

В разговорной лексике живут свои наиболее распространен-

ные словообразовательные средства: приставки, суффиксы и т. д., которые, будучи прибавлены к нейтральному слову, переводят его в разряд разговорных.

Так, суффикс *-ж* — один из самых распространенных в разговорной речи. С его помощью «разговорные» существительные, например, *глажка, готовка*, образуются от глаголов, но чаще — из сочетаний существительного с прилагательным. Разговорная речь постоянно стремится «вытолкнуть» из потока речи сочетание слов и заменить их одним словом, которое образуется от основы прилагательного. Таких слов очень много в разговорной речи: *попутка* (попутная машина), *газировка* (газированная вода), *аскорбинка* (аскорбиновая кислота) и т. д.

С помощью суффикса *-ша* прежде называли жену по мужу (генеральша — жена генерала). В последнее время в связи с появлением ряда профессий с преимущественной занятостью женщин, с помощью этого суффикса наблюдается активизация способа наименования женщин по их специальностям: *вахтерша, гримерша, кассирша*.

Показательна разговорная лексика, образованная от стилистически нейтральных существительных с помощью суффиксов *-ушк, -юшк, -ашк, -ишк, -ышк, -ик, -онк, -очк*, вносящих в зависимости от ситуации значение уменьшительности или уничижительности: *скворушка, ситчик, рубашонка*. Называя что-либо, такие слова дают также определенную оценку называемого. Ласкательную или пренебрежительную окраску вносит в слово суффикс *-ыш*, называющий лицо или животное, и характерный для разговорной лексики: *глупыш, оборвыш, приемыш*.

Суффикс существительных *-ина* используется как показатель большого размера (*рыбина, машина, детина*) или как показатель единичности части предмета (*железина, посудина, черносливина*).

Существительные с суффиксами *-ник, -чик, -щик* наиболее продуктивны в профессиональной терминологии, но вместе с тем используются и разговорной лексикой: *причудник, анонимщик, валютчик*.

«Разговорные» существительные на *-ня* обозначают различные жизненные ситуации: *бегодня, суетня, хлопотня*. Они отличаются от просторечных слов на *-ня*, имеющих собирательное значение и обозначающих группу лиц: *матросня, солдатня, шоферня*.

Глаголы в разговорной речи выступают с приставками *раз-* (*рас-*), *за-*, *на-*, *о-*, *об-*, *про-*, *пере-*, которые изменяют значения глаголов или вносят дополнительные оттенки значений, переводя та-

ким образом нейтральные слова в разряд разговорных: *расслаживать, обзвонить, перезнакомиться*. Эти же словообразовательные модели характерны для просторечия, но, как показывает статистика, чаще они используются разговорной лексикой.

Наш язык представляет собой сложное образование, которое невозможно подвести под строгую математическую систему, представить в виде алгоритмов и формул. Порой то или иное слово попадает в литературный язык и «выживает» в нем, казалось бы, вопреки всякой логике. Одни и те же словообразовательные модели могут обслуживать и межстилевые, и стилистически маркированные единицы.

В заключение можно сказать, что все без исключения способы называния, бытующие в живой разговорной речи, такие, как: *Женщина в заграничном*; В этом году она *оканчивает* (институт); *Сергея ходил на американцев* (американскую выставку); *Поставь из чего пить* и т. п. — не могут получить отражение в словарях в силу их специфики. Как правило, в словарь попадают только единицы таких наименований, например: *Нашим гимнастам досталось серебро*; *Победила наша сборная*.

Итак, при всей объективной сложности разговорной речи, как правило, слово, значение слова, вариант слова, фразеологизм, несущие в словаре помету *разг.*, действительно вошли в язык через живую разговорную речь, и эта их характеристика стала их постоянным стилистическим признаком.

Г. Ф. КУЗЬМИНА

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Как следует сказать: *педагогический* или *педагогичный* поступок?» — спрашивает Л. С. Куликов из Ейска.

Слова *педагогический* и *педагогичный* различаются значением.

Педагогический — относящийся к педагогу, педагогам, педагогике (*педагогическая литература, педагогический коллектив*).

Педагогичный — соответствующий требованиям педагогики, имеющий воспитательное значение. Следовательно, *поступок педагогичный*.

«Идучи в школу, встретился я с приятелем»

Из истории деепричастия

Употребление деепричастий в русском языке ограничено определенными правилами. Еще М. В. Ломоносов писал в «Российской грамматике»: «Весьма погрешают те, которые по свойству чужих языков деепричастия от глаголов личных лицами разделяют, ибо деепричастие должно в лице согласоваться с главным глаголом личным, на котором всей речи состоит сила: *идучи в школу, встретился я с приятелем*. Но многие в противность сему пишут: *идучи я в школу, встретился со мною приятель...*». И по нормам современного русского литературного языка, деепричастие должно относиться к тому же подлежащему, к которому относится глагольное сказуемое.

Однако русскому литературному языку известны случаи употребления деепричастия независимо от подлежащего при глагольном сказуемом; приведем примеры из произведений художественной литературы: «Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя — почти безопасна» (А. Пушкин. Выстрел); «Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание о Р.» (А. Герцен. Былое и думы); «Подъезжая к Ярославлю, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов» (Л. Толстой. Война и мир).

Подобные конструкции в наше время недопустимы, они даже пародируются. Широко известный пример неправильного употребления деепричастного оборота «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа» (А. Чехов. Жалобная книга) аналогичен приведенному.

Почему же деепричастия, являясь неизменяемой формой, при-
мыкающей к глаголу, сохраняют связь с подлежащим при глаголь-

ном сказуемом? И почему встречаются случаи использования деепричастия независимо от подлежащего? Чтобы выяснить особенности синтаксического употребления деепричастий, нужно обратиться к истории их образования, а также проанализировать их значение в современном русском литературном языке.

Весь процесс возникновения деепричастий можно проследить по памятникам письменности. В древнерусском языке XII—XIII веков широко употреблялись краткие причастия действительного залога настоящего и прошедшего времени. Они изменялись по родам, числам и падежам, согласовывались с определяемым словом. Чаще всего использовалась форма именительного падежа, которая относилась к подлежащему и служила для выражения сказуемого.

Краткие причастия в древнерусском языке не зависели от личных форм глагола, могли употребляться самостоятельно, иметь свое подлежащее и, кроме того, соединяться с глаголом посредством сочинительных союзов. В дальнейшем они изменились, перестали согласовываться с определенным словом в роде и числе, оставаясь всегда в форме именительного падежа. Утрата форм словоизменения приводит к превращению их в неизменяемые деепричастия. Этот процесс завершается к концу XIV века.

Таким образом, современные деепричастия произошли из кратких причастий действительного залога: деепричастия несовершенного вида — *сидя, говоря* — из форм настоящего времени, совершенного — *написав, похвалив* — из форм прошедшего. Теперь это неизменяемая форма, которая примыкает к глаголу и не может употребляться самостоятельно.

В процессе перехода кратких причастий в деепричастия были утрачены два важных свойства: 1) изменяемость по родам, числам и падежам; 2) способность употребляться в предложении самостоятельно и иметь свое подлежащее. Но хотя оба свойства утрачены, следы их сохранились надолго. Д. Н. Овсяннико-Куликовский писал: «...деепричастия, хотя они давно уже отделились от причастий и стали особою частью речи, все-таки сохраняют в себе как бы следы своего причастного происхождения, глухое... воспоминание о своей бывшей природе прилагательного, о своей прежней согласуемости с подлежащим» (Синтаксис русского языка. СПб., 1912, с. 73).

Однако связь деепричастия с подлежащим поддерживается не только историческими причинами, она находит обоснование и в современном состоянии языка. Грамматически деепричастие выражает действие, которое может по-разному связываться с основным глагольным действием. Оно может характеризовать его с точки зрения способа, времени или причины совершения, — в этом случае деепри-

частие является обстоятельством: «Княжна Марья вызвала его к рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату» (Л. Толстой. Война и мир) — деепричастный оборот имеет значение образа действия; «Лишь Белинский глубоко и правильно понял и высоко оценил поэму Гоголя, увидев в ней „творение чисто русское, национальное...“» (Н. Л. Степанов. Критико-биографический очерк [Н. В. Гоголь]) — деепричастный оборот имеет значение причины.

Помимо этого, деепричастие может выражать действие, которое совершается параллельно с основным глагольным действием, то есть сопровождает его, сопутствует ему, но никак не характеризует: «Ваш корреспондент в Лондоне уселся за написание своего собственного комментария, сопроводив заголовок к нему тоже знаком вопроса» («Комсомольская правда», 20 января 1976); «Мне кажется, деловому человеку тоже надо бы ставить вторую оценку, заменив слово „артистичность“ словом „перспективность“» («Литературная газета», 4 февраля 1976). В этих предложениях деепричастные обороты равнозначны личным глагольным формам: «уселся за написание... и сопроводил»; «надо бы ставить вторую оценку, но заменить (при этом заменить)...». В подобных конструкциях деепричастия являются второстепенными сказуемыми.

Следовательно, деепричастие в роли обстоятельства и второстепенного сказуемого выражает действие, а действие предполагает лицо (предмет). Поэтому деепричастие, хотя формально и не связано с подлежащим, сохраняет с ним смысловую связь.

Чем же в таком случае объясняется самостоятельное употребление деепричастия в безличных предложениях или в тех личных, в которых субъект действия, названного деепричастием, и подлежащее при глагольном сказуемом относятся к разным лицам? М. В. Ломоносов указал на одну причину — это влияние «чужих» языков. Действительно, в языке писателей XVIII—XIX веков подобное употребление развилось под влиянием французского языка, но это не единственная причина. Самостоятельное употребление деепричастий было поддержано и фактами русского языка.

В народных говорах деепричастие в роли единственного сказуемого используется и до сих пор: «Сейчас хорошо в лесу — зазеленевши все; он пропавши без вести» (И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко. Синтаксис причастных форм в русских говорах).

В литературном языке XX века самостоятельное деепричастие встречается реже, особенно в личных предложениях. Так, перестают употребляться конструкции, в которых логическое подлежащее деепричастного оборота и подлежащее при глагольном сказуемом относятся к разным лицам (предметам), не совпадают. Исчезновение самостоятельно употребляемых деепричастий связано с

особенностями развития литературного языка. В языке советской эпохи происходит укрепление литературной нормы, стирание диалектных различий и уменьшение различий между нормированным письменным и разговорным языком.

Независимые деепричастия чаще всего сейчас встречаются в односоставных предложениях, особенно в безличных, где сказуемое выражено сочетанием наречия или безличного глагола и инфинитива: «Суммируя наблюдения над собранным материалом, можно сказать, что все зафиксированные употребления имеют перфектное значение» (сб. «Русская разговорная речь». М., 1973); «Великолепно сыграв один период, вельзя рассчитывать на успех во всем матче» («Известия», 7 мая 1978); «Почему так часто приходится бросать работу ради маленьких бытовых дел, нанося из-за этого огромный ущерб государству?» («Литературная газета», 10 мая 1978). Подобные употребления являются нормативными.

Таким образом, в современном употреблении деепричастий и деепричастных оборотов отражаются прошлое и настоящее, особенности связи литературного и народно-разговорного языка, а также влияние иностранных языков на развитие русского литературного. История дает о себе знать в двух противоположных процессах: с одной стороны, в тяготении деепричастия к подлежащему, с другой — в стремлении к независимому от подлежащего положению. Особенности синтаксического употребления деепричастий в русском литературном языке связаны как с происхождением его, так и с выражаемым значением.

С. А. ПОЛКОВНИКОВА

СРЕДИ КНИГ

В. Л. Воронцова.

**РУССКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
УДАРЕНИЕ
XVIII—XX ВВ.**

Система русского ударения интересовала ученых еще в XIX веке. А. Х. Востоков и

Я. К. Грот — одни из первых ученых-филологов, занимавшихся изучением ударения. В наши дни эта проблема привлекает все более широкий круг лингвистов. Выпущенная издательством «Наука» книга В. Л. Воронцовой «Русское литературное ударение XVIII—XX вв. Формы словоизменения» (М., 1979) продолжает и развивает теорию русского

ударения. Автор прослеживает развитие ударения в именах существительных (раздел I. Акцентные процессы в именном словоизменении) и глаголах (раздел II. Акцентные процессы в глагольном словоизменении) на протяжении почти трех веков.

В книге показана история русского ударения начиная от древнерусского периода до современного. Так, например, касаясь развития ударения у существительных женского рода, В. Л. Воронцова обращает внимание на то, что в XVIII веке намного больше был список слов с ударением на основе в винительном падеже ед. числа: *блѣху, вѣрсту, вѣсну, грѣзу, звѣзду, свѣнью, сбѣху, стрѣлу* и т. д. В дальнейшем ударение в этих формах переходит на окончание: *блѣхѹ, вѣрстѹ, вѣснѹ* и т. д. Следовательно, тот тип ударения, который считался нормативным в XVIII—XIX веках, постепенно видоизменялся и в наши дни стал нетипичным, а в некоторых случаях даже неправильным.

Ударение в русском языке не является самостоятельной категорией, изолированной от других категорий грамматики. Как утверждают лингвисты московской фонологической школы (В. Н. Сидоров, Р. Н. Аванесов), русское ударение является дополнительным признаком, характеризующим изменение слова по падежам (существительное) и лицам (глагол). Опираясь на это положение, В. Л. Воронцова показывает, например, зависимость ударения от категории числа имен существительных. Так, у существительных мужского рода в именительном падеже множественного числа

начинает употребляться новое окончание *-а (-я)* вместо *-ы (-и)*: *адресы*→*адреса*, *буферы*→*буфера*, *воробы*→*воробья*. Автор подчеркивает, что этот процесс происходит одновременно с развитием подвижного ударения (на основе слова в единственном числе и на окончании во множественном).

В XVII—XVIII веках редки случаи употребления окончания *-а*, и соответственно неширокое распространение имеет подвижное ударение. К началу XX века у существительных мужского рода в единственном числе ударение — на основе слова, а во множественном — на окончании. Лишь в именительном падеже множественного числа ударение двоякое: в формах на *-а* ударение — на окончании (*хлебá, снегá, стогá, желобá, поездá, неводá, колоколá* и т. д.), а в формах на *-ы (и)* ударение может быть как на окончании (*бой, борщѹ, хвостѹ, рублѹ, столбѹ, холмѹ, трудѹ, плоть* и т. д.), так и на основе слова (*звѣзды, гѹсы, конѹ, портѹ, шрифты, фазаны, верблюдѹ, арбузы* и т. д.).

Изменение характера ударения в том или ином слове и его формах зависит, как замечает автор, от ряда причин. Есть такой фактор в языке — явление узуса, то есть степень освоенности слова в речи. Данный фактор определяет характер ударения в разных формах слова. Об этом писал еще Я. К. Грот в своей работе «О русском ударении вообще и об ударении имен существительных»: «Наблюдения над словами всех разрядов показывают нам, что чем более в них жизненности, чем более они усвоены народом, тем легче они подвергаются переходу уда-

рения, если только такому переходу не противятся другие, более сильные и постоянные законы языка». Так, некоторые существительные мужского рода множественного числа приняли окончание *-а/-я*. Чем обычнее слово, привычнее для говорящих, тем скорее оно получило это окончание: *адреса́, корма́, штабеля́* и др. А менее употребительные слова не имеют нового окончания: *бёсы, дýхи, ста́ны*.

Особый интерес в работе В. Л. Воронцовой представляет социолингвистический аспект исследования ударения: раздел III. «Современные акцентные процессы в свете статистических данных». Материалом для этого раздела послужили данные шести тысяч ответов на «Вопросник по современной русской морфологии» (М., 1963), полученные Институтом русского языка АН СССР в течение 1964—1965 годов. Взяв определенный список традиционных и новых вариантов ударения (*в вблнax — в волна́х; к мосту — к мосту́; призы — призы́; дружить — дружи́ть; искриться — искри́тся; налил — нали́л* и т. д.), автор проследивает зависимость их употребления от следующих социальных факторов: возраста, образования, социального положения, территориальной принадлежности.

Как же сказывается каждый из факторов на употреблении новых вариантов? Естественно, что представителям старшего поколения свойственны традиционные варианты ударения. Чем моложе возрастная группа, тем большее число новых акцентов ей свойственно. В. Л. Воронцова отмечает интересное наблюдение: возрастной группе рождения 1940—1949

годов присущи традиционные варианты ударения в большей мере, чем предыдущей группе — рождения 1930—1939 годов. Автор объясняет, не без основания, этот факт тем, что в тот период, когда складывались речевые навыки поколения 1940—1949 годов, проводилась большая работа по нормированию произношения.

В книге приведены также конкретные данные о том, что нетрадиционные варианты ударения в среде филологов почти не имеют распространения, а «нефилологи» быстрее усваивают их.

Территориальный признак играет существенную роль в распространении новых вариантов ударения. В южных областях России они начинают употребляться быстрее, чем в северных. Можно сказать, что новые акценты в русском ударении идут с юга.

Система ударения в современном русском языке изобилует разнообразными вариантами, причем иногда трудно утверждать, какой из них является нормой на данном этапе. Но, как совершенно правильно отмечает В. Л. Воронцова, «принцип грамматической целесообразности, постепенно формирующийся в языке, является, несомненно, основным ориентиром в сложном и неустойчивом состоянии современного ударения, о чем свидетельствует весь материал, приведенный в книге» (с. 286).

Следует отметить, что книга нужна не только специалистам, занимающимся проблемами ударения, но и преподавателям школ и вузов, которые почерпнут значительные сведения по теории русского ударения.

Н. И. ХРЕНОВА



К 90-летию
со дня рождения

Абрам
Борисович
ШАПИРО
1890—1966

Абрам Борисович Шапиро — известный советский языковед-руси́ст, активный и многолетний работник в области просвещения.

*

А. Б. Шапиро родился в Москве в семье служащего. Учился в Тульской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью. Лингвистическую подготовку получил в Московском университете (1910—1914) у таких известных профессоров, как В. К. Поржезинский, В. Н. Щенкин, Д. Н. Ушаков. А. Б. Шапиро был удостоен диплома первой степени, в котором удостоверялось, что он «имеет право на звание учителя гимназии и прогимназии по предмету русского языка и словесности». Однако сразу по окончании университета ему не пришлось заняться научной и педагогической деятельностью, так как он участвовал в первой мировой войне.

С первых лет Советской власти А. Б. Шапиро становится известен как видный педагог и научный работник. Он начал педагогическую деятельность сперва в военно-учебных заведениях, затем на рабфаке при Московском университете и впоследствии — в высших учебных заведениях Москвы: МГУ имени М. В. Ломоносова, МОПИ имени Н. К. Крупской, МГНИ имени В. П. Потемкина. С 1939 года, Абрам Борисович являлся сотрудником лингвистических институтов Академии наук СССР.

А. Б. Шапиро имеет большие заслуги в деле создания пособий для средних учебных заведений; он многое сделал в области разработки методики преподавания русского языка в школах для взрослых. Важным итогом его многолетней работы явилось создание первого стабильного учебника русского языка для средней школы, по которому учились миллионы советских школьников до 1938 года (Грамматика. Ч. I. Морфология; Грамматика. Ч. II. Синтаксис. М., изд. 8-е, Учпедгиз, 1933). В данном случае мы указываем 8-е издание учебника не случайно, а с тем, чтобы подчеркнуть тот немаловажный факт, что именно на рукопись этого, 8-го, исправленного издания (на его вторую часть — «Синтаксис») был дан отзыв Н. К. Крупской, в котором содержатся ценные замечания и пожелания по совершенствованию учебника (см.: Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в десяти томах. Том X. М., 1962. — «Отзыв на рукопись учебника А. Б. Шапиро «Грамматика. Часть II. Синтаксис»). Учебник был утвержден Коллегией Наркомпроса РСФСР в качестве стабильного.

В 1938 году А. Б. Шапиро была присуждена ученая степень кандидата наук и присвоено звание профессора. В 1947 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Строение предложения в русских народных говорах», которая явилась итогом кропотливого и многолетнего изучения, обобщения и систематизации данных по синтаксису русских народных говоров, богатых личных наблюдений ученого. Здесь, как и в других работах Абрама Борисовича, проявились черты исследователя, отличающиеся высокой научностью, строгостью определений, обоснованностью выводов, тонким анализом. Автору этих строк довелось (будучи в аспирантуре под научным руководством А. Б. Шапиро) в первые послевоенные годы работать вместе с Абрамом Борисовичем в двух длительных диалектологических экспедициях в Рязанской и Горьковской областях и видеть эти замечательные качества, что называется, в многостороннем и поучительном для начинающих филологов действии, в действии, которое достойно подражания.

Из работ А. Б. Шапиро периода 20-х годов можно назвать прежде всего книги: Грамматика в школе взрослых (1923, совместно с Н. Ф. Бельчиковым); Русский язык (1925); Элементы русского языкознания (1929); Грамматика, правописание, пунктуация (1929). Он является также автором и соавтором целого ряда других учебных и методических пособий по грамматике, правописанию, развитию устной и письменной речи учащихся различных категорий, которые опубликованы в 30-е годы в виде рабочих книг, таблиц, словариков, справочников, сборников материалов, заданий и т. п.

Авторитетный знаток устной и письменной русской речи, А. Б. Шапиро последовательно шел от вопросов практики к глубо-

кому теоретическому осмыслению языковых явлений и стал признанным специалистом по орфоэпии, орфографии и пунктуации русского языка. В течение 30—50-х годов он активно участвует во многих мероприятиях по развитию филологического образования, в большой работе по упорядочению русского правописания как один из основных авторов впервые создававшегося коллективного труда «Правила русской орфографии и пунктуации», как член всесоюзной орфографической комиссии при составлении Свода русского правописания.

Педагогическая деятельность А. Б. Шапиро в различных типах учебных заведений тесно переплеталась с научно-исследовательской работой в области современного русского литературного языка. Ему принадлежит целый ряд статей и исследований по вопросам морфологии и синтаксиса, орфографии, пунктуации и орфоэпии русского языка.

При значительной широте научных интересов А. Б. Шапиро все же предпочтительно занимался вопросами правописания, лингвистической текстологии (будучи редактором собраний сочинений А. М. Горького и А. И. Герцена) и русской грамматики (разработке ее частных и общих вопросов посвящены многочисленные статьи, учебные пособия, монографические исследования и рецензии на труды многих ученых).

Труды А. Б. Шапиро «Русское правописание» (1951, 1961), «Основы русской пунктуации» (1955), «Современный русский язык. Пунктуация» (1966, 1974) сыграли большую роль в нормализации правил русской орфографии и пунктуации, в повышении культуры письменной речи: эти книги и в настоящее время не потеряли своего значения в важном деле борьбы за культуру речи. В них дается исторический очерк русского правописания, теоретические основы орфографии и пунктуации. Совместно с С. И. Ожеговым А. Б. Шапиро является редактором первого академического «Орфографического словаря русского языка» (1956); с 7-го издания (1967) — совместно с С. Г. Бархударовым и С. И. Ожеговым. Это массовое издание является основным справочным пособием для всех изучающих русский язык и пользующихся им как в школе, так и вне школы (с 13-го издания, 1974, словарь выходит под редакцией С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова).

А. Б. Шапиро написан ряд глав академической «Граматики русского языка» (1952—1954), ему (совместно с Н. Ю. Шведовой) принадлежит также редакционная обработка, окончательное редактирование всех разделов этой Граматики.

Вопросы морфологии освещались автором в статьях: Морфология (БСЭ. 2-е изд., т. 28), О **залогах** в современном русском языке (1941), Об образовании наречий в **современном** русском языке

(1964), Есть ли в русском языке категория состояния как часть речи? (1955), в тезисах «К вопросу о частях речи в современном русском языке» (1954) и др.

Большой цикл грамматических работ посвящен синтаксису. Это прежде всего монография «Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения» (1953); серия статей по вопросу о членах предложения: К вопросу о второстепенных членах предложения (1923); Еще о второстепенных членах предложения (1936); О границах и типах непростого сказуемого (1936); Однородные члены предложения (1938); К учению о второстепенных членах предложения в русском языке (1957) и др.

Несколько работ посвящено классификации придаточных предложений: О принципах классификации подчиненных предложений (1937); Сложноподчиненное предложение (в книге «Грамматика русского языка», т. 2, Синтаксис, ч. 2, 1954); Сложноподчиненное предложение (в книге «Современный русский язык. Синтаксис». Учебное пособие. 1958) и др. В 50—60-е годы автор опубликовал статьи по важным теоретическим вопросам синтаксиса: Модальность и предикативность как признаки предложения в современном русском языке (1958); Словосочетание в русском языке (1959); рецензия на книгу Т. П. Ломтева «Основы синтаксиса современного русского языка» (1960), О предмете синтаксиса (1961) и др. В этих работах А. Б. Шапиро выступал за четкое отграничение синтаксических явлений от явлений логического, лексического и морфологического характера.

Ученому принадлежат заметки об изучении лингвистической терминологии современных славянских языков, которые он публиковал в связи с участием в работе в качестве председателя терминологической комиссии при Международном комитете славистов.

*

Большое внимание уделял Абрам Борисович подготовке научных кадров; под его руководством проведен целый ряд диссертационных исследований; его ученики успешно работают во многих научных учреждениях и вузах страны. Он много трудился, многим бескорыстно и щедро помогал, а потому его ученики, его друзья с почтением и благодарностью вспоминают об этом большом ученом, скромном, доброжелательном и отзывчивом человеке.

И. Ф. ПРОТЧЕНКО



К 80-летию
со дня рождения

Сергей
Иванович
ОЖЕГОВ
1900—1964

С. И. Ожегов — выдающийся советский филолог-русист, крупнейший лексикограф. Известность профессора С. И. Ожегова вышла за пределы узкого лингвистического круга специалистов — его имя знают народные массы в нашей стране и за рубежом.

С. И. Ожегов родился 23 сентября 1900 года в фабричном поселке Каменном (ныне г. Кувшиново) Новоторжского уезда Тверской губернии в семье инженера-технолога. В 1918 году, окончив гимназию, он поступил в Петроградский университет. Но обучение было прервано: в ноябре этого года С. И. Ожегов вступил в ряды Красной Армии и участвовал в гражданской войне.

Сергей Иванович вернулся в университет и в 1926 году завершил высшее образование на факультете языкознания и материальной культуры Ленинградского университета. По представлению учителей — Б. М. Ляпунова, В. В. Виноградова и Л. В. Щербы — С. И. Ожегов был оставлен в аспирантуре Института истории литератур и языков Запада и Востока при ЛГУ, которую окончил в 1929 году. Вспоминая о Ленинграде тех лет, Сергей Иванович писал, что в университете царил обстановка необычайного творческого подъема.

Ленинградский этап жизни С. И. Ожегова (1926—1936) — время накопления знаний и педагогического опыта. Преподавать С. И. Ожегов начал, будучи еще совсем молодым, в аспирантские годы. Уже

в этот период определился круг его научных интересов — область лексикологии и лексикографии. В 1935 году блестящей когортой русских лингвистов (В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский) во главе с Д. Н. Ушаковым была начата работа над первым советским толковым словарем. Идея В. И. Ленина о необходимости создания словаря «настоящего русского языка», отвечавшего всем требованиям современности, нашла воплощение в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. Для ускорения работы над этим словарем Сергей Иванович в 1936 году переехал из Ленинграда в Москву. С. И. Ожегов стал ближайшим помощником Д. Н. Ушакова, работа с которым оставила глубокий след в творчестве С. И. Ожегова. Он был верен памяти ученого всю жизнь.

На основе Толкового словаря С. И. Ожегов создал типовой словник для русско-национальных словарей, что было чрезвычайно важно для развивающейся лексикографии в национальных республиках. Этот словник служил существенным практическим пособием для составления двуязычных словарей. В 1939—1940 годах началась работа над однотомным словарем, утвержден план его издания и образована редакция во главе с Д. Н. Ушаковым. После его смерти в 1942 году редакцию возглавил академик С. П. Обнорский. Основную авторскую работу в словаре выполнял С. И. Ожегов. В составлении I издания принимали участие Г. О. Винокур и В. А. Петросян.

С. И. Ожегов писал в предисловии к «Словарю русского языка»: «В. И. Ленин указывал на необходимость создания словаря современного русского языка массового типа, как одну из существенных задач советского языкознания. Осуществление этой задачи стало возможным только после выхода в 1935—40 гг. первого советского большого словаря под редакцией профессора Д. Н. Ушакова — четырехтомного „Толкового словаря русского языка“...».

Однотомный Словарь вышел в свет в 1949 году. Этим словарем С. И. Ожегов воздвиг себе, по словам Ф. П. Филина, настоящий «рукотворный» памятник. Однотомный словарь воистину стал книгой для миллионов: семь прижизненных многомиллионных изданий быстро расходились. Над каждым его переизданием автор много работал: первое и последнее прижизненное издания существенно различаются. После смерти С. И. Ожегова вышло 8-е, стереотипное издание. В 1972 году опубликовано 9-е, переработанное и дополненное издание, которое редактировала Н. Ю. Шведова, принимал участие в работе над ним Л. И. Скворцов. Это издание регулярно печатается (в 1978 году вышло 12-е). Тем не менее спрос на однотомный словарь все еще не удовлетворен.

Наряду с работой над словарем никогда не прерывалась педа-

гогическая деятельность С. И. Ожегова. Он вел лекционные курсы филологического цикла в МИФЛИ, затем в МГПИ имени В. И. Ленина, в МГУ имени М. В. Ломоносова. Наиболее известен его курс по истории русского литературного языка нового периода. С. И. Ожеговым составлена программа этого курса, утвержденная для преподавания в университете и педагогических институтах.

В АН СССР работа С. И. Ожегова началась с первого сентября 1939 года в должности старшего научного сотрудника Института языка и письменности (ныне Институт русского языка), а в 1941—1942 годах С. И. Ожегов исполнял обязанности директора и руководил московской частью Института.

В 1952 году С. И. Ожегов возглавил сектор культуры речи. Инициатором создания сектора был сам Сергей Иванович. Он считал, что это должен быть сектор нового типа, «призванный разрабатывать проблематику, которая должна непосредственно удовлетворять запросы советской общественности» («Вопросы языкознания», 1953, № 1). Как крупного ученого С. И. Ожегова отличала и широта кругозора, и умение видеть перспективы своей науки. Им были намечены главные направления в области культуры речи, этой новой научной дисциплины, вокруг которых формировались основные исследования сектора.

В связи с осуществлением намеченной программы С. И. Ожегов задумал серию новых трудов. Так, он был новатором в области создания жанра советских словарей «правильностей», или трудностей, речи. К сороковым годам относится замысел орфоэпического словаря. В 1955 году под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова вышел в свет обит словарь-справочника «Русское литературное ударение и произношение» (переработан и переиздан в 1959 году). Под руководством и редакцией С. И. Ожегова выполнен словарь-справочник «Правильность русской речи» (авторы: Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов, I изд.—1962, II изд.—1965). Этот словарь посвящен трудностям словоупотребления и вариантам лексико-стилистических норм литературного языка.

Никогда не выходила из поля зрения С. И. Ожегова работа по упорядочению русской орфографии. В 50-е годы он пишет ряд статей: Об упорядочении русской орфографии; Упорядочение русской орфографии; Русская орфография. Сергей Иванович был членом всесоюзной орфографической комиссии (о работе над «Орфографическим словарем русского языка» см. в этом номере статью И. Ф. Протченко «Абрам Борисович Шаширо»).

Основу нормализации языка, по мнению С. И. Ожегова, должен составить анализ современного состояния языка в свете закономерностей исторического развития. Поэтому ученый задумал осуществить коллективное исследование, в котором бы прослежи-

былись тенденции развития литературного языка в тесной связи с историей советского общества. В начале 50-х годов выходит ряд статей Сергея Ивановича на эту тему: Основные черты развития русского языка в советскую эпоху; Из истории слов социалистического общества; К вопросу об изменении словарного состава русского языка в советскую эпоху и др.

По инициативе С. И. Ожегова воплощена в жизнь идея собирания нового массового материала с помощью вопросников — эта идея высказывалась еще С. П. Обнорским и Л. В. Щербой. При участии С. И. Ожегова была задумана серия научных исследований по современному русскому языку. Первый сборник этой серии «Развитие современного русского языка» вышел под редакцией С. И. Ожегова в 1963 году. В эти же годы С. И. Ожегов руководил всей практической работой коллектива сектора в области культуры речи. Он был организатором и ответственным редактором широко известной научно-популярной серии «Вопросы культуры речи», во всех выпусках которой освещались наиболее острые и актуальные научные проблемы. Первый выпуск этой серии появился в 1955 году, а последний, шестой, над которым лично работал С. И. Ожегов, — в 1965-м, уже после его смерти.

Ученый много занимался и научно-организационной деятельностью. Он был председателем русской секции в научном совете «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций».

В маленькой статье невозможно охватить все стороны необычайно многогранной и разносторонней деятельности Сергея Ивановича. В круговороте научных забот он даже не задумывался о том, чтобы собрать все свои работы воедино и, конечно, так и не сделал этого. По инициативе его ученика Л. И. Скворцова был издан сборник всех основных работ С. И. Ожегова. Этот труд под названием «Лексикология. Лексикография. Культура речи» увидел свет в 1974 году.

Чем дальше в прошлое уходят от нас годы жизни и деятельности С. И. Ожегова, тем значительнее и весомее предстает перед нами его научное наследие. С. И. Ожегов был не только крупным специалистом по истории и современному состоянию литературного языка, по русской лексикологии и лексикографии, по проблемам культуры речи. Каждому, кто знал его, Сергей Иванович запомнился как человек неповторимого обаяния, добрый и отзывчивый, надежный товарищ, мудрый учитель, замечательный руководитель. И в этой светлой памяти — залог продления жизни С. И. Ожегова в науке.

Л. К. ГРАУДИНА



В ИНСТИТУТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР

Все шире и разнообразнее становятся контакты и сотрудничество Института с учеными-славистами различных стран, способствующие изучению русского и других славянских языков. Международные связи Института осуществляются прежде всего через Международный комитет славистов (МКС) и его комиссии.

Институт русского языка оказывает содействие ученым социалистических стран в разработке тем, включенных в планы двустороннего сотрудничества. Так, например, Чехословацкая академия наук готовит большой чешско-русский словарь (консультант от Института русского языка АН СССР — доктор филологических наук А. М. Бабкин) и грамматику русского языка в сопоставлении с чешским (консультант — доктор филологических наук Н. Ю. Шведова).

Главной темой многостороннего сотрудничества для наших ученых в настоящее время является «Общеславянский лингвистический атлас» (ОЛА), в создании которого участвуют почти все европейские социалистические страны: Болгария, ГДР, Польша, Чехословакия, Советский Союз, Югославия. В его составлении также участвовали представители Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, на территории которых имеются славянские поселения. Институт русского языка АН СССР служит научно-организационным центром этого крупнейшего международного исследовательского предприятия.

Работа над ОЛА началась по решению IV Международного съезда славистов, проходившего в Москве в сентябре 1958 года. Созданную при МКС комиссию ОЛА, в которую вошли видные сла-

языки различных стран, возглавил член-корр. АН СССР Р. И. Аванесов. Комиссия ОЛА вместе с рабочей группой регулярно проводит заседания для координации работы и обсуждения возникающих вопросов.

Объединению участников темы способствует издаваемый с 1965 года в Москве ежегодник «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования» (к настоящему времени вышли 12 томов). В нем отражается ход работы над ОЛА, вопросы теории и практики картографирования, содержатся исследования по славянской диалектологии и лингвистической географии.

За десятилетие, с 1965 по 1975 год, были в основном собраны необходимые для составления атласа материалы по всем славянским языкам и диалектам. Их сбор осуществлялся на основе единого разработанного участниками «Вопросника Общеславянского лингвистического атласа» (М., 1965), который включает более 1300 вопросов. В целом по программе ОЛА обследовано около 850 населенных пунктов на территориях стран-участниц. Началось картографирование собранных материалов. Карты, на которых специальными условными знаками показываются зоны распространения определенных языковых явлений, будут сопровождаться лингвистическими комментариями.

В 1978 году в Москве опубликован вступительный выпуск «Общеславянский лингвистический атлас. Общие принципы. Справочные материалы» (главный редактор Р. И. Аванесов). Последующие выпуски ОЛА предполагается издавать двумя сериями: I — лексика, словобразование, семантика; II — грамматика, фонетика и фонология. К настоящему времени подготовлены несколько выпусков атласа: «Животный мир», «Животноводство», «Рефлексы *ѣ».

Подобного рода труды по лингвистической географии будут иметь важнейшее значение для изучения истории языков и народов. Они необходимы лингвистам, историкам, археологам, этнографам.

Институт русского языка АН СССР участвует также в разработке новой крупной темы международного сотрудничества языковедов в области лингвистической географии — «Лингвистический атлас Европы» (ЛАЕ).

Работа над этим атласом началась в конце 60-х годов. В 1970 году была создана международная организация «Лингвистический атлас Европы», которая объединяет все европейские страны, работающие над проблемой по общей программе; президент организации — профессор А. Вейнен (Нидерланды).

Советские ученые работают в ЛАЕ с 1975 года. Председателем советской комиссии (она включает 32 специалиста из различных республик) был утвержден Р. И. Аванесов (он же является одним

из вице-президентов организации ЛАЕ); заместителем председателя — доктор филологических наук В. В. Иванов.

Руководит работой международной организации ЛАЕ Главная редакция (председатель А. Вейне). В ее состав входят крупнейшие лингвисты европейских стран, в том числе представители социалистических стран — СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, ГДР, Венгрии и Югославии.

Академию наук СССР в составе Главной редакции ЛАЕ представляют: от Института русского языка АН СССР — Р. И. Аванесов (заместитель председателя) и В. В. Иванов; от Института языкознания АН СССР — член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (финно-угорские языки), доктора филологических наук Э. Р. Тенишев (тюркские языки) и Г. А. Климов (кавказские языки).

*

Научным центром ЛАЕ в Советском Союзе является Институт русского языка АН СССР, который призван организовывать и координировать участие в этой работе академий наук ряда союзных республик. В Институте создана рабочая группа. Сюда поступают материалы из всех республик и областей Европейской части СССР, охватываемой атласом; после проверки и перепечатки они отправляются в Центр диалектологических исследований Нидерландской академии наук.

Главной редакцией ЛАЕ составлены два вопросника для собирания необходимых сведений. В основу первого из них — лексического (он включает 546 вопросов и издан в 1976 году в переводе на русский язык) положен «Вопросник Общеславянского лингвистического атласа». Карты ЛАЕ составляются с помощью ЭВМ в Марбурге (ФРГ).

Регулярно в разных странах проводятся совещания Главной редакции и коллоквиумы. На последних встречах в Москве (1979) и в Амстердаме (1980) обсуждались и редактировались карты, предназначенные для пробного выпуска ЛАЕ.

«Лингвистический атлас Европы» должен показать исторические связи языков Европы с древнейшей поры до нашего времени, взаимоотношения между романскими, германскими, славянскими, тюркскими, финно-угорскими и другими культурами по данным языка, а также современные культурно-языковые отношения.

Работа по изданию «Общеславянского лингвистического атласа» и подготовка «Лингвистического атласа Европы» осуществляются при содействии ЮНЕСКО.



*В годовщину великой битвы уместно вспомнить, что ее воспели еще современники. Правда, за давностью времени растеряли «книжные люди» старинные песни и сказы об этом славном деле. Дошли до нас только две основательные переработки: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», дошли и записи в летописях. И пет среди многих списков (а у «Сказания» их известно почти 150) ни одного абсолютно схожего с каким-нибудь другим: то слово какое-то вставят, то эпизод, то добавят, то убавят. Да это и понятно. Ведь составлено оно было в самом начале XV столетия, то есть через четверть века после самой битвы. Времени прошло немало, очевидцев оставалось немного, задачи у автора «Сказания» определенные — вот и насочинял он: имена переменял, кого-то вспомнил, о ком-то забыл, вместо Ягайла появился Ольгерд, вместо Сергия — Киприан и т. д. И пока на первое место ставилась литература с традицией и опытом книжника и компилятора, важнейшим источником для филологов оставалась «Задонщина», хотя и этот текст был составлен не сразу же после боя, а много лет спустя, не ранее 1392 года. Теперь же, вглядываясь в те времена и в лица тех людей, мы вдумываемся в слова участников, очевидцев, героев, которых сегодня следует вспомнить; нас волнует и радостный возглас победителя, и горестный плач по погибшим. Нас интересует устная песня народа, прославившего подвиг по свежим следам.

И тогда оказалось, что «Задонщина» и «Сказание» — всего лишь своды разнородных данных, полученных из разных источников, в том числе и из песен во славу победы на поле Куликовом. Множество общих мест, фрагментов, «кусочков» этого первоначального поэтического материала разошлось по вторичным произведениям, которые имели целью показать не отдель-

ные эпизоды, не отдельных героев, а все событие в целом. Теперь важно было сослаться на очевидцев, на летописные известия, на документы — и много таких ссылок и намеков на них в «Сказании». Уже не нужны были субъективные, может быть, и личностные характеристики событий, описанных самими его участниками. Да и не любила средневековая книжная литература подобных индивидуальных отклонений от общего стандарта. Традиционная литература захватила в свою орбиту живую стихию народных «речей», перемолола ее в своем горниле, расставила акценты, нарисовала характеристики, которые должны были переходить из поколения в поколение. И все же нет ни одного, абсолютно похожего на другие, списка.

Недавно Р. П. Дмитриева, сравнив все шесть дошедших до нас списков «Задонщины» с некоторыми древнерусскими текстами, показала, что неизвестный составитель «Задонщины» только использовал тексты, составленные рязанским монахом Софонием, и поминал его как образцового поэта, которому стоит подражать. Не Софоний написал «Задонщину», но он — автор произведения, предшествовавшего ей. Еще раньше А. А. Шахматов доказал, что и в «Сказании» много заимствований из «поведания» Софония, некоторые строки из него попали и в Тверскую летопись. И если сравнить их, перед нами в остатках, но вполне различимо возникнет одно из самых ранних поэтических свидетельств о битве — героическая песнь, которую А. А. Шахматов удачно назвал «Словом о Мамаевом побоище». Сложена она была при дворе серпуховского князя Владимира Андреевича, активного участника битвы, брата великого князя Дмитрия Ивановича, а судя по особому пристрастию автора «Слова» к брянским воеводам и князьям, — он и сам был брянец по месту происхождения (рязанец по месту службы), а именно таким по старым спискам предстает перед нами Софоний.

Попробуем представить эти отрывки в их первоначальном виде.

На пиру у Микулы Васильевича (потом он погибнет на поле Куликовом) князю сообщают о приближении Мамая:

— Ведóмо ли вам, рúсским госудáрям,
Царь Мама́й пришéл из (завóлжия),
Стал на рецé на Ворóбнеже,
(а) и всéм своим улúсом
Не велéл (он) хлéба пахáти?
А ведóмо мое таково́,
Что хóщет итти на Рúсь,
И вы бы́, госудáри, // послáли его (по) обыскáти,
Тавы́ ли то он тúто сто́ит,
Гдé его мнé поведáти!

Русские войска идут в поход:

Тогда възвѣяша силнии вѣтри
По дорбзе ширбце
И въздвигбшася велиции князи
а по них русския сынове
спѣшно грядут,
аки медвяные чаши пити
и стѣблия виннаго ясти,
но не медвяные чаши пити,
ни стѣблия виннаго ясти,—
хотят укушити чести
в славнаго имени в вѣки
зѣмли Русской...

Браги разбегаются после поражения:

— Уже нам, брате, в землі своей не бывати,
А детей своих не видати,
А в Русь ратию нам не хаживать,
А выхода нам у русских людей не прашивать!

Р. П. Дмитриева в статье «Был ли Софоний рязанец автором „Задонщины“?» (Куликовская битва и подъем национального самосознания. Л., 1979) справедливо отмечала, что в этих отрывках «наблюдается некоторая ритмическая организация текста». Особенно ясно это видно при разбивке на стихи с теми ударениями, которые отчасти передаются в некоторых списках текста, а отчасти легко восстанавливаются на основе сравнения с древнерусскими акцентованными рукописями, в том числе и XIV века. Сохранилась большая книга с проставленными ударениями, которую лет за двадцать до Куликовской битвы переписал еще один выходец из брянских бояр — митрополит Алексей (умер в 1377 г.).

Учитывая сходство в ритмической организации текстов, их содержании, употреблении отдельных слов и форм, в число фрагментов первоначального «Слова о Мамаевом побоище» можно включить уже довольно много отрывков, приводить которые здесь полностью излишне, прежде всего потому, что работа над ними еще не завершена. Однако заметим, что в них то и дело проявляется народный язык конца XIV века, особенно в монологах или «речах». Например, князь Дмитрий обращается к брату, принимая решение о выходе войск:

Брате князь Владимир Андреевич!
Побед тамо, укуним животу своему славы!...
Не утлим лица своего от поганных/

Аще и смѣръ случѣтся вам,
Дѡма живучѣи единѣко умрѣти же,
А смѣрти в брагѣи не избѣити!

Мамай, получив дары от Дмитрия, посланные по совету митрополита:

— Чтѡ есть умѣслил Дмитр — рѣтай мой,
Яко прислѣ ми златѡ сие,
Мнѣше собѣ мене подѡбна?!

Пересвет, увидев противника, выехавшего из рядов для поединка, говорит:

Се человек ищет себе подѡбна,
Аз же хоцѣ с ним видетися!

Одна из картин боя (этот отрывок точно сохранился в «Задонщине»):

И в трупѣ человекѣю
Бѡрзи копи не мѡгут скочѣти,
А в кровѣи по колѣно брѡдят.

Замечательно энергичное и сдержанное окончание, которое непременно должно было сопровождать всякую торжественную песнь и завершаться ею:

Шибла слава над поганых землѣю,
Ревѣт рози по всѣм землям
Пѡйде же вѣсть всѣм градом —
Ко Орнѣчу и Крѣму, к Кафе и к Желѣзным Вратѡм,
К Тырнову и к Царѣюграду на похвалѣ:
— Русь бо поганых одолѣша
На поле Куликове, на рѣчке на Непрѣдвѣ!

Первая особенность языка приведенных отрывков в том, что «Слово» понятно современному читателю почти без перевода. Исключения касаются лишь некоторых понятий, давно утраченных: *выход* — подать, дань; *поганые* — неверные, язычники (в текстах, посвященных битве, их называли еще «еллинами», «сыроядцами» и т. д.). Своим языком, подбором лексических средств эта песнь резко отличается, например, от «Слова о полку Игореве», в котором много неясных и спорных мест (главным образом из-за испорченности списка и его уникальности).

Тем не менее это все-таки архаический текст. Многие слова в XIV веке имели другое значение, например: *груп* — что-то срубленное, например, пень; в воинских текстах древней Руси это сло-

во обозначало тело погибшего воина. *Борзый* — не совсем быстрый, скорее бодрый, сильный; *бродити* — переходить вброд. Если все это принять во внимание, понятнее станет тот художественный образ, который связан с одним из наших отрывков: «В завалах порубленных тел человеческих даже сильные кони не могут скакать; и в крови по колено ходят в брод». Как видим, «Слово» хоть и напоминает дружинный стиль повествования, знакомый нам по былинам и воинским повестям, все-таки воспринимается иначе. Здесь, в частности, нет эпитетов — они просто еще не отстоялись в средневековой поэзии и воспринимались буквально, как простое распространение существительного, как уточнение его смысла: *стеблие виноное, медвяные чаши, славное имя, стязи золоченые* (для церковного языка более приемлемой была другая форма: *стебли винограда, чаши меда, имя славы, золото стягов*). Заметим, что даже сочетание *в трупу человецью* представляет нам русскую форму притяжательного прилагательного, а не церковную форму слова *человеческий* — смысл был бы иной, и подобная разница смысла точно ощущалась в то время. Более других похоже на постоянный эпитет сочетание *борзый конь* — на это указывает вся последующая поэтическая традиция. Однако и это сочетание всего лишь устойчивый воинский термин, который и значение носил вовсе не то, какое вкладываем в него мы.

*

Приметы времени ощущаются во многих местах. Русский верховный князь — князь великий, к нему, как и к любому державному князю, можно было обратиться со словом *государь*. Царем, как это и было принято в XIV веке назывался только Мамай (иногда ~~и~~ же и без уточнения собственным именем: царь только один!). Противопоставление Русь — Орда все время проходит по тексту, отражаясь прежде всего в подборе слов. В описании «татарской стороны» часто употребляются тюркизмы, некоторые из них теперь неизвестны русскому языку: «Тауз кали так» — что говоришь сие?

Подробности дружинного быта также разработаны досконально и точно. Какова, например, разница между *слагом* и *хоруговью*? Оба слова заимствованы — одно из скандинавского, другое — из тюркского; оба обозначают боевое знамя, но это знамена различного назначения, их обязательно следовало различать.

Хорошо известное былинное выражение «хочу с ним в поле переведаться» — сразиться в поединке, в «Слове» звучит иначе — в его более раннем виде: «Где его мне поведати?» — восклицает ~~Б~~ентрий; «Аз же хочу с ним видетися!» — говорит и Пересвет. Древние глаголы *видѣти* и *вѣдати* совпадают здесь в своих значе-

ниях, образуя незаметный переход, не совсем ясный теперь; основной смысл этой старой формулы можно было бы передать примерно так: «Увидеть, чтобы познать» (его силу, храбрость и т. д.). Другие выражения такого рода обычны в тексте, сравним замечание князя: «А смерти в бою не избыти!».

В «Слове» часто противопоставляется русское воинство вражеским полчищам. Позже, в книжных переделках, такое противопоставление было подано как победа православия над язычеством (хотя орды Мамаю вовсе не были в массе своей языческими). Это изменило всю тональность описания, повлекло за собою множество вставок из церковных книг, затуманило суть конфликта. В дошедших до нас отрывках из «Слова» явно проявляется другое, целиком эпическое противопоставление витязей, защитников земли своей, — врагам. Интересно и противоречие между самосознанием русских воинов (именно как витязей, рати) и навязываемым им чуждой волею определением их как «пахарей», «крестьян», «смердов»; даже их верховный князь — всего лишь ратай, который должен поставлять хлэбы царю Мамаю. Именно такая антитеза была важна в произведении, созданном в воинской среде, она оскорбительна и напоминает момент перед началом боя, когда противники задирают друг друга. Кстати говоря, употребление слова *пахати* в тексте не дает никаких оснований для того, чтобы видеть «ягру слов» в выражении *хоругови русские аки живи пашутся* — знамена русские, будто живые, колышутся. Если это и не влияние «Слова о полку Игореве» (там *хоботы пашутся*), то вполне обычное для древней литературы выражение, использующее исконное значение слова *пахать* — «веять, развевать». Никакого отношения к пахарям и ратаям оно не имеет.

Противоположность собственного чувства и злой татарской воли ощущается в любом отрывке и подчеркивается самыми разными средствами. Обратим внимание на глагольные формы, представляющие основной состав слов, употребляемых в тексте, что весьма характерно для народной поэзии (книжная поэзия с XI века стилистически разрабатывает прилагательное). К тому же все глаголы — русские, вынесенные из простых разговоров: *промолвити, пашутся, не утулим лица* (не спрячем, тулится — прятаться), *умыслил, шибла слава, ревут роги, сердитую...* Большинство из них употреблено в сочетании с модальным глаголом: *не велел пахати, хочет итти, хотят укупити, хотят промолвити, хочу видетися, могут терпети, не могут скочити* и др. В целом, неоднократно повторяясь, такие сочетания создают неуловимую сеть оттенков модальных значений.

Противопоставление русской стороны вражеской наблюдается и в использовании глагольных форм времени. Так, прошедшее вре-

Обычное для рассказа о вражеской стороне, настоящее — о русской. Система времен, поданная в тексте, всегда выражает авторскую позицию, строит своеобразную перспективу в последовательном ряду событий; тем более это важно в тексте XIV века, когда старая система времен уже разрушалась и уступала место новым отношениям. Русский князь и его воины как бы оживляются использованием форм настоящего времени. Даже в начале «Слова», когда речь идет собственно о Мамае, переключение внимания на князя («А ведомо мое таково!») моментально переводит действие из прошлого в план настоящего, зримого и живописного. Или: «Поедем тамо, укупим животу своему славы!» — будущее действие также переносится в план настоящего. Точнее сказать, будущее слито с настоящим, является его частью, потому что в XIV веке будущее время в нашем современном смысле еще не существовало. Как, например, «вы бы послали» — не прошедшее время, а желательное наклонение, так и «поедем» — всего лишь окрашенное определенной модальностью пожелание, связанное с планом настоящего времени. Можно было бы и формы настоящего времени расценивать как поэтический способ живописать прошлые события — «настоящее историческое», как называют его лингвисты. Однако это неверно: общий пафос изложения заключается здесь именно в перенесении прошлого в план настоящего, вторичного переживания событий в поэтической форме.

Однако в тексте встречаются и формы прошедшего времени. В XIV веке обычный способ передачи прошлых действий — старый перфект: *послали, шибла* и т. д. Аорист, имперфект исчезли из устной речи, они не встречаются и в прямой речи героев (*мняше* — говорит, например, Мамай, но и тут по некоторым спискам находим вместо имперфекта форму *мнит*). Там, где поздние переписчики донесли до нас форму аориста, по смыслу легко предполагать перфект. Вот одно место: «Тогда возвеша силнии ветри» и т. д., и вдруг — переход к настоящему времени: *грядут*. В древнерусском языке подобное сочетание противоестественно, обычной нормой было такое употребление форм: если одно действие началось до начала другого и далее продолжалось уже совместно с ним, то первое из них обозначалось формами перфекта, а второе — настоящего времени. Если второе происходило в прошлом, то оно обозначалось аористом, но тогда вместо перфекта следовало употребить плюсквамперфект. Как бы мы ни судили об этих формах, единственно верным следует признать, очевидно, сочетание *возвешали..., воздвиглись...* — и вот *грядут...* Так и должно было быть в оригинале, если он писался на русском языке XIV века. Аорист здесь, как и в других местах, не при чем, он появился от «сверхстарательно-

сти» переписчика или редактора, который хотел превратить этот текст в чтение серьезное и душеполезное.

То же касается и причастий в тексте. *Свѣтящяся, простирающе* и другие — церковные формы, они либо заменили что-то (по спискам можно судить, что заменили формы настоящего времени), либо со временем преобразовали свою русскую форму (одна из них указана — *ѡбма живучи*). Очень интересно также, что в речи Мамая использовано сразу две формы личного местоимения — краткая и полная: *присла ми — собе мене подобна*. Это также древняя особенность речи.

*

В «Слове» много старых народных форм (например, повторение предлогов при приложениях, формы многократного действия вроде *хаживати, прашивати*). Произношение их также русское — *собе*, а не *себе*; *есмя*, не *есмъ* и др. Оно и старое, потому что употреблены формы вроде *широце* вместо *широкой*, *велиции* вместо *великие*, также *сынове*, а не *сыны* и тем более не *сыновья*. Синтаксические конструкции в тексте полностью русские, с минимальным числом подчинительных союзов (только традиционные *яко* и *яще* во многих их значениях), но зато с частыми сочинительными союзами *а*, *и*, *но*. Много здесь и неопределенных, казалось бы, частичек, которые на самом деле играли большую роль в создании всякого «звучащего текста», определяли и его ритмический контур (*ми, же, бо* и т. д.).

Оказывается, что перед нами, хотя и в отрывках, подлинный текст конца XIV века, еще не прошедший горнила XV века, в течение которого русский письменный язык во многих отношениях сблизился с церковнокнижным языком. Во всяком случае, слово *живот* еще не было заменено церковным словом *жизнь*.

Главное в «Слове о Мамаевом побоище» — его поэтическая и лингвистическая цельность, его одностильность. Оно во многом отличается от «Слова о полку Игореве» по своей поэтической технике, по своему языку (который очень сильно изменился за два столетия — и каких столетия!). Здесь нет прямых заимствований из «Слова о полку Игореве» — впоследствии это сделал неизвестный автор Задонщины. Однако общий пафос произведения XIV века как-то перекликается с памятником XII века, что неудивительно, если считать, что оба текста были созданы в одной и той же, дружинной среде.

В. В. КОЛЕСОВ
Ленинград

Рисунок В. Толстоногова

Деловая письменность и литературный язык



Ведущая роль советской русистики в развитии науки о русском языке в мире неоспорима. Многие зарубежные ученые, наряду с советскими коллегами, плодотворно исследуют проблемы обширного русского языкознания, уделяя, естественно, внимание и особенно сложным, нерешенным вопросам истории языка. Международное сотрудничество во имя науки, свободное от всяких предвзятых мнений, принесит несомненную пользу. К сожалению, в отдельных странах иногда появляются исследования, в которых объективный анализ уступает место суждениям, навеянными определенными предубеждениями. В подобных сочинениях так или иначе принижается роль и древнерусской и великорусской языковой культуры, тенденциозно интерпретируются исторические взаимодействия между языками восточных славян. Проводится, скажем, такая мысль, что литературный язык восточных славян сложился лишь на основе воспринятого ими от болгар вместе с церковными книгами старославянского языка, без участия их родного, древнерусского языка. Выходит, в раннеписьменную эпоху собственных возможностей и средств формирования литературного языка у восточных славян не было. Признавая большое общекультурное и лингвистическое значение усвоения нашими предками старославянского языка, мы вместе с тем усматриваем в истоках их литературного языка и древнерусское начало. Ведь даже самое «приживание» старославянского языка к восточнославянской почве было обеспечено прежде всего значительной общностью его не только в лексическом, но и в фонетическом и морфологическом отношениях с языком восточных славян. Больше того, под влия-

нием восточнославянской речевой культуры заимствованный старославянский язык претерпел некоторые изменения и превратился в несколько иной язык — язык церковнославянский. В прошлом известное преувеличение роли старославянского языка в развитии русского литературного языка допускали и некоторые наши ученые, но это было связано не с каким-либо предубеждением, а с меньшей изученностью в тот период древнерусской письменности и слабой осведомленностью в деловой письменности более позднего времени. Развитие отечественной русистики доказывает неправоту подобных взглядов.

Таким образом, при выяснении процесса образования литературного языка восточных славян, соотношения в нем старославянских и древнерусских элементов необходимо обстоятельное исследование той исторической общности старославянского и древнерусского языков, которая существенно благоприятствовала усвоению элементов первого восточнославянской средой. Необходимо и более глубокое изучение древнерусских элементов. Одна лишь количественная оценка, например, слое-древнерусизмов, мерцавших отдельными вкраплениями в церковнославянских рукописях, которой обычно и ограничиваются, недостаточна для правильного определения удельного веса древнерусской лексики в формировании литературного языка восточных славян. Церковнославянские рукописи в своем подавляющем большинстве были каноническими, то есть такими непререкаемыми текстами, как, например, евангелия. Списывали их обыкновенно побуквенно и довольно тщательно. И если, тем не менее, в списки пробивались древнерусизмы, то это безусловно означало, что влияние их в речевой культуре было неизмеримо большим, нежели то, которое рисуется их отражениями в текстах. Значение этого явления с точки зрения выяснения реального положения в литературном языке куда больше, нежели их одно количественное значение. С этим нельзя не считаться. Следует также принимать во внимание и общественную значимость древнерусизмов, «прикрепленность» их к определенным сферам бытия, и характер церковнославянских контекстов, в которые они «вторгались», не говоря уже о характере тех церковнославянских слов, которые им уступали место.

Недостаточная осведомленность исследователей в обширных публикациях деловой письменности XVI—XVIII веков и особенно в безбрежном скорописном наследии привела, вместе с другими причинами, к непомерному преувеличению в русской действительности начальной поры национального развития роли церковнославянской письменности. Применительно к тому времени лингвистическое состояние на Руси иногда характеризуют как двуязычие. Огрубленно это выглядит так: устное общение было русским, а

письменное — церковнославянским. Подобное представление о нашей письменности данной эпохи несостоятельно. Буквально неobservable деловая письменность убедительно свидетельствует о существовании в то время развитого письменного языка, сложившегося на собственно русской основе, показывая, насколько разносторонним, широким в жанровом отношении (от сводок зарубежных известий до бытовых, интимных грамоток-писем) являлось его функционирование в жизни русского общества. Этот письменный язык вполне определенно заявлял о себе в основных государственных законах, именуемых судебниками и уложениями, а также в летописной традиции, в тысячах книг делового содержания — писцовых, разрядных, межевых и отказных, вкладных, таможенных, городского дела, всевозможных приходных и расходных, сельскохозяйственных и иных, в так называемых десятнях; в неисчислимой массе представленной в столбцах государственной и частно-правовой документации — в расспросных речах и челобитных, отписках, памятях и доездах, поручных записях и явках, в ценовых, купчих и меновных, в кабальных записях и сказках. Он выразительно представлен в так называемых хождениях, статейных списках и вестях-курантах, лечебниках, заметно сказывается в «Домострое» и составляет безусловную основу таких художественных произведений, как сатирические повести и сочинения протопопа Аввакума. Наконец, бесспорно его присутствие в печатных книгах нецерковного характера. Наглядное представление о письменном языке, сложившемся на собственно русской основе, дают подготовленные в Институте русского языка АН СССР издания памятников: С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964; Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А. И. Безобразова), М., 1965; Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968; Грамотки XVII — начала XVIII века. М., 1969; Вести-Куранты. 1600—1639 гг. М., 1972; Вести-Куранты. 1642—1644 гг. М., 1976; Вести-Куранты. 1645—1646, 1648 гг. М., 1980; Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. М., 1977; Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край. М., 1978. Издание этих памятников осуществил коллектив сотрудников Института русского языка АН СССР в составе: В. Г. Демьянов, С. И. Котков, Н. С. Коткова, А. С. Орешников, Н. П. Панкратова, А. И. Сумкина, Н. И. Тарабасова, И. С. Филиппова. Письменный язык русской формации полностью обслуживал в это время огромную и сложную систему центрального и местного управления, сельскохозяйственного, ремесленного и зарождавшегося промышленного производства, обширной торговли и таможенной службы, военной организа-

ции государства, его дипломатических отношений, повседневное эпистолярное общение и значительную сферу внецерковной духовной жизни общества. В нем выражалась многообразная деятельность центральных приказных учреждений, и уездных приказных изб, позднее — сената и коллегий, воеводских, провинциальных и губернских канцелярий, а кроме того, монастырских и всякого рода других канцелярий.

На долю церковнославянского языка, точнее — церковнославянской письменности, в национальный период оставалось обслуживание религиозного культа, применение в виршевой поэзии, выполнение некоторых стилистических функций в светской художественной литературе, орнаментация отдельных (торжественных) документов, этикетное украшение зачинов и концовок в частной переписке. Разве этого достаточно, чтобы лингвистическую культуру русских в национальный период ее развития характеризовать как двуязычие? Сферы устного и письменного применения русского и церковнославянского языков были несоизмеримы. В действительности господствовало русское моноязычие при коммуникативно весьма ограниченном (в основном рамками религиозного культа) церковнославянском иноязычии. Однако церковнославянские элементы сравнительно свободно применялись в литературной форме русского языка для выражения тех или иных стилистических оттенков. Как видим, основательные предпосылки для определенного разграничения русской и церковнославянской стихий вызревали задолго до Ломоносова. Ломоносов осуществил это разграничение в учении о трех стилях. Согласно этому учению, простой, или низкий, стиль составляла живая разговорная речь, а средний от высокого отличался меньшим употреблением элементов церковнославянского языка.

Говоря о русском моноязычии, мы имеем в виду не абсолютно свободный от иноязычных включений русский язык, а содержащий и эти включения, в том числе и церковнославянские, но в качестве органически усвоенных, ставших у русских вполне своими. Органическое усвоение иноязычных элементов наблюдается во всех языках, но лишь иногда в условиях подавляющего этнического, социально-экономического и культурного преобладания иноязычной среды приводит к известному изменению строя, вбирающего эти элементы языка. И если никто не сомневается в том, что, скажем, английский или немецкий, или французский языки, усвоив некоторые иноязычные элементы, не перестали быть таковыми, то вряд ли можно сомневаться в том, что русский после усвоения элементов некоторых других языков, в том числе и церковнославянского, не перестал быть русским языком. И тем не менее в зарубежных исследованиях историю нашего литературного

языка иногда, в русле тенденциозных воззрений, сводят к истории церковнославянского, а литературную роль древнерусского и позднее русского (великорусского) языка считают второстепенной. На VI Международном съезде славистов (1968 г.) прозвучало, например, такое высказывание: «В своей основе словарный состав современного русского литературного языка продолжает оставаться церковнославянским, и не только оставаться, но и развиваться и обогащаться при помощи церковнославянского словообразования». Это высказывание Б. О. Унбегауна подверг уничтожающей критике В. В. Виноградов (см.: Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 241—242). К сожалению, в отечественной русистике те аспекты истории языка, в процессе разработки которых вскрывалась бы (как, например, в статьях и книге Ф. П. Филина и некоторых других ученых) несостоятельность подобного рода мнений, освещаются недостаточно или не затрагиваются вовсе. Особенно важным представляется исследование в указанном аспекте обширных материалов деловой письменности XVI—XVIII веков, прежде всего неопубликованных, поскольку огромное скорописное наследие этих веков не изучено, а в изданиях скорописные тексты воспроизводились обыкновенно упрощенно.

Большую роль деловой письменности в формировании литературного языка в начальный период образования нации подчеркивал В. В. Виноградов: «Московский деловой язык XV—XVI вв., вбирая в себя элементы говора Москвы и диалектов окружающей его этнографической среды, получает известную литературную обработку и нормализацию. Сложившись по преимуществу на материале юридических актов и договоров, он начинает, особенно с XVI в., употребляться значительно шире. На нем пишутся руководства по ведению хозяйства, повествовательные исторические и географические сочинения, мемуары, лечебники, поваренные книги и другие произведения. Расширение литературных функций письменно-делового языка все больше содействует превращению его в своеобразный стиль литературной речи и тем самым содействует „национализации“ русского литературного языка, во всяком случае образованию общенациональных грамматических, а отчасти и звуковых произносительных норм». И далее: «Деловой язык Москвы, унаследовавший древнерусские традиции, а также испытавший влияние со стороны соответствующих жанров новгородской письменности, к концу XVI в. стал общим для всего обширного русского государства. Именно в нем складываются существенные элементы будущей грамматической, а отчасти и лексической системы русского национального литературного языка» (В. В. Виноградов. Указ. соч., с. 187). Введенные в научный оборот

за последние два десятилетия новые памятники деловой письменности XV—XVII веков (московские и периферийные акты, вестикуранты, Дневник участника русского посольства в страны Западной Европы в конце XVII в. и др.) еще раз убедительно подтверждают: роль развитой деловой письменности в формировании литературного языка в начальный период становления нации была определяющей. Признанию этого важного обстоятельства и поныне мешает довольно распространенное и еще не преодоленное в нашей науке и особенно в зарубежной филологии понимание русской деловой письменности данного и более раннего времени как полностью внелитературной. Такая трактовка деловой письменности вытекает из отождествления литературного языка, с одной стороны, с церковнославянским, а с другой — с языком художественной литературы.

Литературный язык — это язык с общественно признанной и письменно закрепленной в качестве образцовой нормы традицией. В современном литературном языке образцовая норма кодифицирована — формально узаконена в грамматике, словарях, правописных и орфоэпических правилах, а в прошлом, вплоть до Ломоносова, она формально не узаконивалась и определялась в общем практически — устойчивостью употребления, являлась узуальной (от *usus* — «то, что принято, что стало обычным; обычай, обыкновение», ср. лат. *usus* «употребление, обыкновение»). С узуальной нормой имели дело и многочисленные периферийные писцы, и служители московских приказов, а при издании нецерковных книг и справщики Московского печатного двора. Органически сложившаяся на русской почве узуальная нормативность деловой (скорописной) письменности, естественно, расходилась с нормативностью произведений церковнославянской книжности (в божественстве своем канонических), которая в значительной степени обеспечивалась и постоянством текстов, и более строгим, чем скорописное, уставным и полууставным письмом.

Узуальная норма была влиятельной. На нее ориентировалась огромная деловая письменность (центральная — в общем последовательно, периферийная — менее последовательно). Судить о литературности текстов времени распространения старинной скорописи (XV—XVII вв., да, пожалуй, и ранее), не считаясь с нормой, невозможно. В начальный период национального развития она складывалась в основном в деловой письменности, частью — в художественной литературе, минимально — в церковнославянской книжности. Главенствующая роль деловой письменности в этом процессе объяснялась тем, что формирование русской национальной общности, определявшее развитие языка, происходило в наиболее важной сфере разносторонних деловых отношений. Этот сложный

формативный процесс правомерно рассматривать в свете следующего положения В. И. Ленина: «...для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 25, с. 258). Большое государственное значение развитой московской письменности обеспечивало авторитет формировавшейся в ней узусальной нормы. Равнение местных грамотеев на образцы московского делопроизводства прослеживается в их писцовой практике вполне определено. Этому во многом способствовало такое общее правило: многочисленные отписки местных властей о выполнении московских указов писцам полагалось начинать с точного воспроизведения этих указов.

Подчеркивая значение деловой письменности в формировании норм литературного языка, надо, однако, отметить, что не все деловые тексты являлись литературными. С существенными отступлениями от литературных норм, за исключением, видимо, заученных, этикетных зачинов и концовок, писались обычно грамотки-письма, в особенности близким друзьям и родственникам. С нарушением литературных норм излагались неопытными писцами, главным образом местными, челобитные, сказки, поручные записи, явки и другие деловые бумаги. В зависимости от того, какими писцами, искусными или неискусными, писаны тексты делового содержания, и в зависимости от жанра этих текстов они могут представлять собой и памятники литературного языка, и памятники народно-разговорной и даже диалектной речи. Раздельное рассмотрение и затем сопоставление этих составов памятников позволяет выявить, с одной стороны, облик народно-разговорной речи, а с другой — литературного языка XVI—XVIII веков. Сопоставление же всей деловой письменности и церковнославянского наследия, с отдельным учетом художественных текстов, позволяет выяснить действительное место и значение в ту историческую эпоху в русском лингвистическом обиходе церковнославянского элемента.

Одним из основных условий плодотворного изучения истории языка в связи с историей общества является исследование старинных текстов с учетом, хотя бы и в ограниченных пределах, общественного положения, быта, речевого и правописного уклада создателей этих текстов — писцов, авторов, правщиков, то есть представителей общества, которые имели к данным текстам самое непосредственное отношение. Оптимальные возможности такого изучения заключаются, естественно, в рукописях, культура чтения

и интерпретация которых в науке о русском языке еще не получила должного распространения. Осуществляемые в настоящее время лингвистические издания старинных текстов расширяют возможности подобного изучения, однако не могут заменить рукописей в полной мере. Вообще успешное продвижение в области истории русского языка в значительной степени зависит от расширения аспектов исследования в направлении от замкнутого лингвистического к более широкому — филологическому, с учетом особого состава и характера письменных источников, а главное, того обстоятельства, что многое в истории языка в конечном счете обуславливалось внелингвистическими факторами — изменениями в жизни общества. Не случайно структуралистская теория, одно время заполонившая изучение современного русского языка по кодифицированным текстам, оказалась совершенно бессильной проникнуть в его историю. Разработка истории русского языка в более широком, филологическом плане предполагает, во-первых, органическую связь глубоких лингвистических исследований с изучением истории народа, его материальной и духовной культуры, во-вторых, непременно углубление источниковедческих разысканий. Между прочим, только специальный, источниковедческий анализ позволяет в массе разнообразных источников выявлять в качестве однородных те или иные лингвистические данные, воплощенные в письме неодинаково — в виде прямых или косвенных отражений (например аканья, фрикативного *з* и т. д.), которые (данные) вследствие однородности можно подвергнуть статистической обработке. Любые попытки применения последней без предварительного тщательного выяснения однородности обрабатываемых данных не могут дать объективных результатов.

Расширение исследований в филологическом направлении предполагает вторжение в область стилистики, если не всего русского языка, что при недостаточной изученности памятников ныне едва ли осуществимо, то, по крайней мере, литературного или, во всяком случае, языка художественной литературы. Пока исследование стилистических явлений в истории русского литературного языка находится в начальном состоянии. Во многих работах по стилистике современного русского литературного языка не слышно даже отголосков былых стилистических отношений, а лишенная исторических корней стилистика мало что объясняет. Настало время начать разработку исторической стилистики литературного языка.

С. И. КОТКОВ

Рисунок В. Леонидова



НЕПРЯДВА

Название этой реки в летописях и в повестях Куликовского цикла представлено в различных звуковых и графических вариантах (Непрадва, Непрявда, Непрядня, Непрятва, Непрява, Непрядна и др.), являющихся позднейшими искажениями первичной формы *Непрядва*, обычной в древнейших памятниках, например в Новгородской первой, Новгородской четвертой, Воскресенской, Троицкой, Никоновской и других летописях и летописных сводах.

Относительно этимологии гидронима *Непрядва* было высказано несколько точек зрения. Одни, связывая его с глаголом *прыгать* «прыгать», считали, что речка названа так потому, что ее «перескочить невозможно» (И. Афремов. Куликово поле. М., 1849), другие (например, М. И. Троицкий) пытались установить угрофинское происхождение этого гидронима и рассматривали его в одном ряду с другими неславянскими названиями, имеющими конечное *-ва*, которое восходит к такому же самостоятельному слову со значением «вода, река». М. Фасмер вслед за А. И. Соболевским, форму *Непрядва* выводит из *Непряды* (родпт. падеж *Непрядъве*), в свою очередь, родственной словам *прыгати* «прыгать», *прудъ* «течение» и *прудун* «водопад» (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). Специальные разыскания гидрониму *Непрядва* посвятили М. И. Альбрут и П. Я. Черных. Первый в статье «О происхождении названия реки Непрядвы», сближая *Непрядву* с такими речными именами, как *Домоткань*, *Самоткань* и *Прядівка* (укр.), видит в них отражение одной и той же особенности — наличия или отсутствия (*Не-прядва*) в их воде водной растительности (элементы — *ткань*, *-пряд-*). «Славяне, — пишет М. И. Альбрут, — с запада пришедшие в бассейн Верхнего Дона, дали речке Непрядве название, которое ее ярко характеризовало как реку с проточной

водой, не покрывающуюся плесенью или тиной». П. Я. Черных отметил уязвимость гипотезы М. И. Альбрута (прежде всего с лингвистической стороны) в статье «О некоторых старых названиях рек». Сомнительно и утверждение М. И. Альбрута о славянском происхождении названий рек Днепровского бассейна — *Домоткань* и *Самоткань*, которые О. Н. Трубачевым трактуются как результат изменения в славянской речи более ранних иранских гидронимов (О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, с. 207).

В работе П. Я. Черных мы находим интересные соображения относительно морфологической природы названия реки *Непрядвы*. Отрицательно относясь к гипотезе А. И. Соболевского (так как ни в памятниках, ни в живой речи не засвидетельствованы формы склонения предполагаемого им собственного имени *Непряды*, о котором уже говорилось), П. Я. Черных вслед за Г. А. Ильинским допускает, что в гидрониме когда-то был суффикс *-ва*, а сам он вначале представлял собой прилагательное женского рода.

*

Какое же лексическое значение могло иметь название реки до того, как оно превратилось в одно из «темных» слов нашей топонимии? Его корень *-пряд-* имел исчезнувший еще в доисторическую эпоху в живой речи восточных славян носовой звук *e*, который чередовался с *o* носовым. Эти звуки, а затем и развившиеся на их месте звуки *a* (с сохранением мягкости предшествующего согласного) и *y*, долгое время обозначались особыми буквами — соответственно «юсом малым» и «юсом большим». Славянские носовые звуки в наше время сохраняет польский язык. В древних и современных славянских языках имеется целая группа слов, значения которых прямо или косвенно проливают свет на историю гидронима *Непрядва*. Например, *прудь* — «поток», *пружь* — «бороздка для воды в садах», *прудькый* — «стремительный» (И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., 1895); укр. *пруд* — «быстрое течение»; чеш. *proud*, словац. *prúd*, польск. *prąd* — «поток, течение», *prądać* «течь» (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1971) и т. д. Несколько отдалена от них по смыслу материально родственная им группа слов, связанная с ними общим значением «пробывать в движении»: древнерусское *прядати* — «скакать» (И. И. Срезневский), старославянское *въспрянути* — «проснуться»; *прядать* — «прыгать, скакать», *перепрыгнуть* — «перепрыгнуть», *перепрядки* — «чехарда»: *играть перепрядки* (Словарь русских донских говоров. Ростов, 1975); *отпрыгнуть* (из *отпрыгнуть*) и др.

Корень *građ* — пруд отразился и в славянской гидронимии, сравним польск. *Prądnik* (река под Краковом); в гидронимии Украины: *Прудник* — две реки с таким именем в бассейнах Западного Буга и Припяти; *Прудка* — название рукава Днепра, речки в бассейне Десны и протока в Черниговской области.

Итак, можно допустить, что слово Непрядва имело значение «спокойная, неспешная, тихая». Такою речка была и в недавнем прошлом. Место слияния ее с Доном, писал И. Аффремов, отличается замечательно спорным (от спереть — стеснить, сдавить, сжать — Е. О.) течением от прямого угла впадения, тогда как Дон в своем верховье отличался быстрым течением (Топографическое описание Тульской губернии. — «Северный архив. Журнал истории, статистики и путешествий». 1823).

Вообще же этот признак [скорость течения] — один из тех, который находит частое отражение в названиях рек и других водотоков. На верхнем Дону это *Тихая* и *Быстрая Сосна* (на них Дмитрий Донской посылал своих ратников перед битвой «языка добывать»), *Тихий* (или Малый) *Усерд*. В «Книге Большому чертежу» река Меча названа еще *Быстрой Мечей*. Ниже Непрядвы в Дон впадает *Рыхотка* (в «Книге Большому чертежу» — *Рыхоть*), название которой содержит корень *рых-*, чередующийся с *рух-* (ср. древнерусск. *рухло*, *рухлядь* — «движимое имущество»; укр. *рух* — «движение», *рушити* — «двинуть[ся] с места»; польск. *guch* — «движение» и *guche!* — «быстрый, поспешный» и др.) и является смысловым «антиподом» *Непрядвы*.

Е. С. ОТИП

Донецк

Среди редких памятников письменности внимание исследователей привлечет еще одна интересная находка — «Букварь языка словенского». Книга, выпущенная в 1715 году, считалась безвозвратно утраченной. Однако сотрудники Львовской научной библиотеки Академии наук УССР геожидачно обнаружили легендарный букварь, представляющий собой небольшую карманную книжицу, отпечатанную на кириллице, оформленную орнаментами и гравюрой.



Продолжаем историко-топонимическое путешествие по «Золотому кольцу» (начало в № 4, 1980). Все так же наш путь лежит по Ярославскому шоссе, протянувшемуся на месте древней русской дороги, проложенной в конце XIV века. На протяжении двух с половиной веков она была грунтовой.

Этот старинный путь связан с множеством событий русской истории. По нему в 1555 году в Москву после взятия Казани возвращался Иван Грозный; в 1609 — проходили войска Сяпег и Лисовского на осаду Троице-Сергиевой лавры, а затем возвращались после неудачной 16-месячной осады. По этой дороге двигались в 1612 году на освобождение Москвы от польско-литовских интервентов воины Дмитрия Пожарского. В 1663 году на этом направлении было организовано почтовое сообщение с заграницей через

Архангельск. Во времена Петра I был учрежден Московско-Архангельский почтовый тракт, много раз по которому проезжал сам Петр — на Плещеево озеро, в Архангельск и к берегам Невы. В декабре 1730 года по этой дороге пешком из Холмогор пришел учиться в Москву девятнадцатилетний Михаил Ломоносов. В середине XIX века грунтовая дорога была замощена камнем, в советское время заасфальтирована.

*

В непосредственной близости от Загорска на «Золотом кольце» расположено старинное село *Воздвиженское*. Это название населенный пункт получил по находившейся в нем Воздвиженской церкви. Следует отметить, что (по нашим наблюдениям) в настоящее время названия населенных пунктов (ойконимы) Московской области, основой которым послужили названия церквей, составляют до 7% от их общего числа.

К сожалению, до нас не дошел ни один древний архитектурный памятник села Воздвиженского. А в 1623 году здесь, в живописной местности, по которой протекает речка Пажа, был построен дворец, где русские цари отдыхали, когда ехали на богомолье в Троицу. Существующая сейчас в Воздвиженском церковь была построена в 1837—1848 годах. Этот храм интересен тем, что представляет собой массивный куб, украшенный с четырех сторон небольшими четырехколонными портиками, на него поставлена глава, служившая одновременно помещением для колоколов — *звоном*. Церковь повторяет древний тип храма «иже под колоколы».

С Воздвиженским связано много эпизодов русской истории. Здесь в 1682 году по повелению царевны Софьи были казнены князь Иван Андреевич Хованский и его сын Андрей. Князь Хованский был начальником Стрелецкого приказа и вынашивал мечту посадить на престол своего сына. С этой целью он пытался поднять восстание стрельцов против правительства Софьи. До сих пор бытует легенда о том, что тела казненных отца и сына Хованских были брошены в болото рядом с Воздвиженским. Истории свойственны самые неожиданные повороты. И вот через семь лет в этом же селе Софья ожидает юного Петра, который скрылся за стенами Троице-Сергиева монастыря от её приспешников, намеревавшихся его убить. Она хочет оправдаться перед братом и просит его вернуться в Москву. Однако Петр не покинул монастыря, и свидание с вероломной сестрой не состоялось. Многие интересные, яркие страницы романа А. Н. Толстого «Петр Первый» посвящены истории именно этого села — села Воздвиженского...

Неподалеку от Воздвиженского в древние времена на высоком мысу, охваченном рекой Пажей, был поставлен город-крепость

Радонеж. И сейчас здесь видны хорошо сохранившиеся земляные валы пятиметровой высоты, глубокий ров. Вокруг простираются леса. И встреча с древним Радонежем невольно вызывает размышления о давно минувших временах, о славных страницах истории нашей Родины. Современный советский поэт и художник-пейзажист Игорь Кобзев написал стихотворение «Радонеж», опубликованное в сборнике его стихов «Радонежье». Есть в нем такие строки:

Звон подмосковного золота,
Шорох берез и осин —
Все вроде лепета, шепота
Летописей и былин...
.....
Дышит далекою древностью
Эта замшелая ширь;
Бор оцетинился крепостью,
Стражем застыл монастырь.
.....
Вольные люди московские
Вышли из этой земли.
Звонкие краски рублевские
Тоже отсюда пошли.

Впервые этот населенный пункт упоминается в форме *Радонежское* в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты (ок. 1336—1339 года): «А се даю княгини своей с меншими дѣтми: ...село Луциньское, село оу озера, село Радонѣжское...».

Откуда же ведет свое происхождение название *Радонеж*, что оно означает? Большинство исследователей считает, что *Радонеж* в качестве производящей своей основы имело личное имя *Радонег*. Вот, например, точка зрения А. М. Селищева: «Представим ряд примеров топонимических названий, образованных от личных имен и прозвищ. ...*Радонеж* на берегу речки Пажи, ныне Городок (Моск. обл.) — Имя *Радонег*» (А. М. Селищев. Из старой и новой топонимии). Естественно, форма *Радонеж* — *Радонежское* представляет собой, таким образом, форму принадлежности — «Чей? Чье?»: «Радонегга». Следует подчеркнуть, что эта гипотеза происхождения ойконима *Радонеж*, вероятно, не является окончательной.

Историки затрудняются указать, когда же в точности возник Радонеж, однако начало XIV века, как мы видели, — дата, подтвержденная источником. В житии Сергия Радонежского (о которой речь еще пойдет) упоминается о Радонеже как об относительно

шумной «глубинной» городке, куда удалился в 1328 году из Ростова со всей семьей отец Сергия. В Радонеже, судя по материалам археологических раскопок, были развиты кузнечное и гончарное ремесла; ремесленники обеспечивали в основном нужды жителей окрестных селений.

Входя в состав Серпуховского княжества, Радонеж по духовной грамоте князя серпуховского и боровского Владимира Андреевича (документ датируется 1401—1402 годами) был завещан его старшему сыну Андрею: «А благословилъ есмь сына, князя Андрѣя, дал есмь ему Раданеж...». Вместе со всем серпуховским уделом Радонеж был впоследствии присоединен к Москве. Именно в числе других московских волостей, которые Иван III завещал своему старшему сыну Василию, назван в духовной грамоте 1504 года и Радонеж: «...волости даю къ Москвѣ со вѣм по старинѣ сыну своему Василью. Да ему ж даю волости Сурожык, да Лучинское, да Радонеж с волостми, и з путми, и з селы...».

Однако не суждено было Радонежу разрастись и превратиться в большой город: слишком успешно с ним соперничала Троица — город-монастырь, основанный выходцем из Радонежа. После разорения в 1610 году поляками Радонеж практически прекратил свое существование: детинец его запустел, а на месте посада осталось поселение не городского, а сельского типа. Исчез город, исчезло и его название. Населенный пункт, расположенный на месте древнего радонежского посада, правда, существует и поныне. Он носит название *Городок*. Единственная улица села Городок упирается в старинный вал, напоминающий о былой крепости Радонеж.

А что же означает название *Городок*, с чем оно связано по своему происхождению? Вот что можно прочесть в одной из работ академика С. Б. Веселовского: «Очень древним типом селения были городки, все укрепление которых состояло из рва, земляного вала и частокола. ...И сама Москва была в древности таким же городком... Таких городков в Подмоскowie было очень много, но история их была различной — немногие уцелели, и на месте их образовались селения различных размеров, а большинство городков исчезло, да так основательно, что отыскать их следы можно теперь только при помощи археологических раскопок» (Подмоскowie. М., 1955).

Таким образом, название *Городок* образовалось от нарицательного существительного *городок*, обозначающего определенную разновидность населенного пункта. Это указывает на то, что некогда в данном месте, в излучине реки Пажи, стоял древний город-крепость. Ср. толкование, которое дает слову *городок* в своем словаре В. И. Даль: «встарь, острог, острожек, укрепленное тыном заселение». «Словарь русского языка XI—XVII вв.» приводит такие значения слова *городок*, как «укрепление, защитное сооружение,

укрепленное поселение, населенный пункт». Следует отметить, что такая лексико-семантическая модель ранее была продуктивна в русской ойконимии. На карте Подмосковья (равно как и многих других областей, районов) можно найти такие названия, как *Городище, Городок, Сельцо, Село, Деревня, Деревнище, Селище, Острожки, Становищи, Слобода, Слободка, Выселки, Новинки* и т. д.

Одно из интереснейших мест «Золотого кольца» — город Загорск.

Название *Загорск* очень молодое. Оно появилось на карте страны только в 1930 году. Но нельзя сказать, что молод город, ныне называемый Загорском. Его история насчитывает не одну сотню лет. Поэтому попробуем установить «цепочку» изменений, которые претерпевало название этого населенного пункта на протяжении столетий. Ведь каждое название города никогда не бывает случайным, оно — исторично. Можно сказать, что географические названия, в частности, ойконимы, есть тот пласт лексики, в котором особенно отчетливо прослеживается связь языка с духовной культурой народа, с народным творчеством. Обратимся к ойкониму *Загорск*, но, прежде всего, вспомним историю Троице-Сергиева монастыря, положившего начало образованию города Загорска.

Троице-Сергиев монастырь возник в тяжелое для Руси время, когда прерываемый татарскими набегами и княжескими усобицами только начинался процесс единения русских земель вокруг Москвы. Именно в тот период (около 1337—1339 годов) из Ростовской земли в Радонеж переселился боярин Кирилл, разоренный набегами, междоусобицей, даянами и т. д. Вместе с родителями в Радонеж переселился и отрок Варфоломей — будущий Сергей Радонежский.

Получив в монашестве имя Сергей, Варфоломей основал монастырь, который первоначально назывался *пустыню*, то есть обителью, удаленной от городов. В 30—50-е годы XIV века Радонежская земля интенсивно заселялась, и создание монастыря было частью процесса оформления и развития Радонежского удела. Думается, составитель «Жития Сергия Радонежского» Епифаний Премудрый несколько романтизировал обстановку, в которой основывался монастырь, когда писал следующее: «не бе тогда окрест монастыря ни сел близ, ни дворов, все пусто, со вся страны лес бе, все пустыня».

Кому же был посвящен монастырь, основанный Сергием, и какое он получил название? Монастырь, который он основал и игуменом которого стал, был назван *Троицким*, Троица в те времена

символизировала собой идею единства, преодоления распри. Епифаний Премудрый писал, что Сергей основал монастырь для того, чтобы «воззрением на святую Троицу побеждался ненавистный страх розни сего мира». И Сергей Радонежский, посвятив свой монастырь Троице, активно содействовал примирению князей, укреплению Руси.

Первоначально Сергей замыслил поставить монастырь у бывшего языческого святилища в урочище *Белые Боги*, затем поблизости от современного села *Марфино*. Однако эти попытки ни к чему не привели: вероятно, Сергей натолкнулся на сопротивление местных землевладельцев, что и заставило его искать относительно «пустынных», другими словами, незанятых мест. Монастырь был поставлен на возвышенности — на холме *Маковец*. Уже сам этот микротопоним указывает на то, что Сергей поставил свой монастырь на довольно высоком месте. В Толковом словаре В. И. Даля читаем: «*Маковица, маковка* — ...вершина, верхушка, самый верх здания, дерева или высокого предмета...». Слово *маковка* является собственно русским. Первоначально оно обозначало только головку мака. В дальнейшем на основе сходства по форме или по расположению частей название было перенесено и на другие предметы, попав, в частности, и в сферу местной географической терминологии.

Спустя два-три года к Сергию стали стекаться монахи, в 1353 году Сергей Радонежский становится игуменом Троицкого монастыря. Монастырь превращается в крупное феодальное владение и начинает осуществлять монастырскую колонизацию Северо-Восточной Руси.

Непосредственно свое название Троицкий монастырь получил по той маленькой деревянной церковке, которая была поставлена Сергием и его братом Стефаном в 1345 году и посвящена Троице. В 1408 году Троице-Сергиев монастырь постигла печальная участь — во время нашествия хана Едигея он был сожжен. Новый этап в истории монастыря начался в 1422 году, когда произошла канонизация его основателя Сергия Радонежского. Торжественно был заложен каменный Троицкий собор «в похвалу» Сергия. Писать иконы для этого собора и расписывать его стены было поручено Андрею Рублеву и Даниилу Черному.

В XVI веке Троице-Сергиев монастырь входит в систему оборонительных сооружений, форпостов вокруг Москвы. В течение десяти лет, начиная с 1540 года, в монастыре возводятся каменные стены (общая длина 1284 м), в оврагах горы Маковец устраиваются запруды. Большой интерес представляют названия некоторых башен монастыря. Если подходить к нему со стороны Москвы, то сразу же в глаза бросается одна из самых мощных башен — угловая *Пятницкая* (названа по церкви Параскевы Пятницы). Самая кра-

сивая башня Троице-Сергиева монастыря — Утичьа. Первоначально она называлась Житничьей башней (поскольку находилась напротив Житного двора). Однако после надстройки в конце XVII века эта башня получила новое название — *Утичьа*. Сохранилось предание о том, что молодой царь Петр стрелял с этой башни уток, плававших в соседнем пруду. Якобы именно в память об этом на шпигеле башни было закреплено изображение утки. Есть возможность для разработки гипотезы и в ином направлении. Учитывая тот факт, что наиболее ранние источники упоминают название башни в форме *Уточьа*, а также тот факт, что под башней находятся водные источники (это и позволило впоследствии провести в ней водопровод), вероятно, следует подумать о возможной связи названия башни именно с ключами, под ней расположенными.

Не менее интересны названия остальных башен монастыря — *Пивная* (с обширными погребями), *Конюшенная* (или *Каличьа*), *Плотничья*, *Звонковая* (или *Кузнечная*), *Сушильная*, *Красная*, *Луковая*, *Водяная*, *Келарская*. Этимология этих названий достаточно прозрачна: почти все они связаны с назначением башни, спецификой ее использования в монастырском быту, расположением поблизости какого-либо объекта внутри монастыря или за его пределами, внешним обликом башни и т. д.

В 1744 году Троице-Сергиеву монастырю было присвоено почетное наименование *лавы*. *Лаврой* (это слово греческого происхождения, имеющее в древнегреческом ряд значений — «мощеная дорога», «здание», «квартал» и т. д.) на Руси назывались некоторые наиболее крупные мужские православные монастыри, которые были влиятельными центрами религиозно-монархической идеологии и просвещения.

Город, который теперь называется *Загорск*, сформировался не только на основе монастыря.

Первые подмонастырские села появляются около Троице-Сергиева монастыря в конце XIV века. С начала XV-го века возникают слободы. Их появление и развитие было связано и с ростом монастырского хозяйства, и с проходившей здесь большой дорогой. Древнейшим из них было село *Клементьево*, жители которого занимались в основном ремеслами и торговлей (в основе этого ойконима имя). В начале XV века к востоку от монастыря выросла *Служичья слобода*, населенная «троицкими слугами» — доверенными лицами по управлению вотчинами обители. Памятуя о польско-литовской осаде, монастырские власти набирают «охочих людей» в стрельцы и пушкари; так возникают *Пушкарская* и *Стрелецкая слободы*. К югу от монастыря в слободах жили мастера-строители.

В 1782 году окружавшие Троицкую лавру села и слободы были объявлены городом, который получил название *Сергиев Посад*.

Указ императрицы Екатерины II гласил: «...живущая в слободах ведомства Коллегии экономии близ Свято-Троицкой Сергиевской лавры лежащих непашотным жителям, производящим торговлю и ремесла, позволить записаться по их желанию в купечество и мещанство, учредя для них посад под именем Сергиевской, и в нем Ратушу». Слово *посад* определяло тип населенного пункта, его разновидность, одновременно являясь частью названия и приобретая в его составе все более твердое положение. Вскоре после указа был создан проект планировки Сергиева Посада. Центром города оставался ансамбль лавры, вокруг которой значительная площадь освобождалась от застройки. Сохранялись пять больших прудов: *Белый* — около Утичьей башни, *Конюшенный* — у северной стены монастыря, *Пятницкий* — близ Пятницкой церкви, *Келарский* и *Клементьевский* — к югу от монастыря.

Строительство шоссе, связавшего Москву с Сергиевым Посадом, было закончено в 1845 году, а спустя семнадцать лет было открыто движение по железной дороге.

В 1919 году название *Сергиев Посад* было преобразовано в *Сергиев*, и город стал районным, а с 1922 года — уездным центром. В 1930 году он получил новое название *Загорск* в честь видного деятеля партии В. М. Загорского. Настоящая фамилия Владимира Михайловича Загорского (*Загорский* — псевдоним) была *Лубоцкий*; имел он и партийную кличку — *Денис*. В. М. Загорский вступил в члены партии в 1905 году, в 1918-м был избран одним из секретарей Московского комитета РКП(б). В 1919 году В. М. Загорский был убит вместе с другими партийными активистами и вожаками взрывом бомбы, брошенной левыми эсерами в помещение МК РКП(б) в Леонтьевском переулке.

Ойконим *Загорск* представляет особый интерес. Во-первых, будучи образованным от имени *Загорский*, многими людьми он воспринимается как относящийся к ряду названий-ориентиров, указывающих на положение населенного пункта на местности относительно чего-либо. Русская ойконимия достаточно богата такими названиями, как *Заречье*, *Заболотье*, *Заборье* и, наконец, *Загорье* (есть и *Подосинки*, *Залуги*, *Подберезное* и др.).

Другим примечательным фактором является то, что ойконим *Загорск* представляет собой пример так называемого обратного словообразования (деривации) [как и *Дзержинск*, *Жуковский* и т. п.]. Суффикс *-ск-* в названии *Загорск* не имеет никакого отношения к словообразованию ойконима, поскольку является составным элементом фамилии *Загорский*. Однако создается впечатление, что это название стоит в одном ряду с такими, в составе которых *-ск-* является ойконимообразующим элементом. Известно, что еще в IX—XII веках ойконимы на *-ск-* образовывались от основ, обозначающих

природные особенности (например, *Брян-ск* — древний *Дебрянск*, то есть «город, лежащий в непроходимых лесах, дебрях»). Позже (вплоть до настоящего времени) с этим суффиксом образуются ойконимы как от нарицательных существительных, так и от имен собственных других видов: *Подоль-ск*, *Том-ск*, *Алтай-ск*, *Белоречен-ск*, а также *Киров-ск*, и др.

Дальнейшее знакомство с топонимией «Золотого кольца» будет продолжено в городе Переславль-Залесском и некоторых других населенных пунктах, находящихся в его окрестностях.

М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
В. Ю. ДУКЕЛЬСКИЙ
Рисунок С. Гаприловой

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

В. Н. Сидоренко из г. Сумы спрашивает: «Некоторые молодые люди, играющие на гитарах, называют себя трубадурами и труверами. Объяснение слова *трубадур* в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова есть, а что означает слово *трувер*?».

В средние века *труверами* [фр. trouver — находить] назывались поэты-певцы северной Франции, соревновавшиеся с *трубадурами* — поэтами-певцами южной Франции, северной Италии и восточной Испании. Труверами особенно культивировался жанр эпических песнопений. Трубадуры и труверы прославляли рыцарскую любовь.

В газете «Труд» за 20 апреля 1980 года встретил незнакомое слово: «ДРА проводит политику, направленную на укрепление союза и единства рабочих, крестьян, кочевников, интеллигенции, ремесленников, торговцев, патриотических улемов...». Что такое *улем*? — спрашивает Л. П. Сидорец из Киева.

Улемами называются в странах распространения ислама мусульманские богословы и правоведы.

В предыдущих номерах журнала под рубрикой «Олимпийские арены Москвы» рассказывалось о названиях и истории мест, связанных с проведением Олимпиады-80.

По просьбе наших читателей продолжаем рассказ об именах московских улиц и площадей.



Так называется одна из старейших магистралей Москвы. Напомним, что *кольцо* в данном случае — слово условное, неточное, на самом деле линия первых московских бульваров образует подкову, оба конца которой упираются в Москву-реку. Эти бульвары появились в конце XVIII — начале XIX века на месте древнего

оборонительного пояса — Белого города, сооруженного еще в царствование царя Федоре Иоанновиче, то есть четыре века назад.

Слово *бульвар* пришло к нам из французского языка, а во французский — из немецкого: *Bollwerk* означало «крепостная стена», французы преобразовали его в *boulevard*. В то время в Западной Европе на месте упраздняемых крепостных стен стали устраивать зеленые полосы с аллеями для прогулок. Такие бульвары, в частности, были разбиты на месте городских стен Парижа и Вены.

Итак, начнем нашу экскурсию от Кропоткинской площади, Кропоткинских ворот. Кстати, почему *ворот*? Ведь на площади с этим названием никаких ворот нет, если не считать похожую на ворота арку станции метро «Кропоткинская». Название *Кропоткинские ворота* (прежде Пречистенские, а до того *Чертольские*), как и другие наименования со словом *ворота*, доносит до нас память о когда-то стоявших здесь воротах оборонительного пояса — *Белого города*.

Местность эта в средние века называлась *Черторье*, потом *Чертолье* — от протекавшего здесь ручья Черторья, сто лет назад заключенного в подземную трубу. В половодье и ливни этот ручей становился довольно бурным, размывал берега — вероятно, отсюда и название: русло его словно «черт рыл». Кстати, такое речное имя в России встречается нередко.

От Чертольских ворот расходились две улицы — *Чертольская* и *Остоженка*. Первая из них указом царя Алексея Михайловича в 1658 году была переименована в *Пречистенку*; по ней «тишайший» царь часто ездил на богомолье в Новодевичий монастырь и, надо думать, имя *Чертольская* неподобающим напоминанием о черте немало раздражало его. *Пречистенка* — такое название улица получила по церкви «Пречистыя богородицы смоленской» в Новодевичьем монастыре, *Пречистенскими* стали именоваться и ворота. В 1921 году улицу и ворота назвали *Кропоткинскими* — в честь выдающегося русского ученого и революционера, чьи детские и юношеские годы прошли в этом районе — Петра Алексеевича Кропоткина. Память же о злополучном ручье сохранилась лишь в названии ближнего переулочка — *Чертольского*.

Остоженка получила свое название по местности у Москвы-реки, занятой *остожем*, то есть покосами и лугами. В 1933—1935 годах здесь открытым способом сооружалась первая линия метрополитена; в честь его строителей улица в 1935 году была переименована в *Метростроевскую*.

К Кропоткинским воротам выходит и улица *Волхонка*, названная так в XVIII веке: обширные землевладения, где она рас-

жились, принадлежали князьям Волконским, в просторечии *Волхонским*.

Бульвар, проложенный от Кропоткинских ворот, первоначально назывался *Пречистенским*. В 1924 году его назвали *Гоголевским*, так как именно на нем еще в 1909 году был воздвигнут первый памятник великому писателю.

Слева на бульварный проезд выходит улица Рыльева — так в 1962 году был переименован Гагаринский переулок, в связи с тем, что в сохранившемся здесь доме № 15 бывал знаменитый декабрист — один из руководителей Северного общества и восстания 14 декабря 1825 года. Старое же название было дано этой улице по фамилии одного из домовладельцев, членов обширного рода князей Гагариных.

Следующий переулок на нашем пути зовется *Сивцев Вражек* — какое чарующее, пропитанное ароматом седой старины имя! Некогда здесь по «вражку» (то есть овражку, лощине) протекал ручей, приток Черторыя. В старинных актах он значится под названием *Сивка*, но, думается, что это более позднее, во всяком случае не единственное его имя: от *Сивка* было бы название *Сивкин Вражек*. Возможно, некогда ручей звался *Сивец* — от такого наименования, может быть, и происходит *Сивцев Вражек*.

Арбатская площадь, бывшие Арбатские ворота. Под этими воротами когда-то пролегал *Арбат* — одна из древнейших улиц нашего города. Вот еще одно название, носящее специфически московский «особый отпечаток». Занесли его к нам, видимо, еще в XV веке купцы, торговавшие со странами Востока: *арбат*, точнее *арбад* — слово арабское, означающее «пригород» (городом тогда назывался Кремль).

Арбатскую площадь пересекает проспект Калинина. Он сложился в 1964 году из двух неравных отрезков: образованной в начале 1960-х годов широкой магистрали от Арбатской площади до Калининского моста и небольшой улицы — бывшей Воздвиженки, носившей это название по давно упраздненному Крестовоздвиженскому монастырю. Проспект носит дорогое всем советским людям имя «всесоюзного старосты» М. И. Калинина, многие годы работавшего в здании, находящемся в начале улицы. Поблизости в 1978 году М. И. Калинину поставлен памятник.

На Арбатскую площадь выходит также улица, названная в 1925 году именем выдающегося советского полководца М. В. Фрунзе, который возглавлял Реввоенсовет, находившийся на *Знаменке* — так именовалась улица прежде по названию стоявшей на ней церкви.

Следующий бульвар с 1950 года носит имя русского полководца А. В. Суворова, жившего поблизости; дом его сохранился. Раньше

бульвар назывался *Никитским*, так как выходил к *Никитским* воротам и *Большой Никитской улице*. Последняя получила название по стоявшему в ее начале Никитскому монастырю, основанному знатным боярином Никитой Романовым, дедом первого царя династии Романовых. Боярин не преминул назвать монастырь именем своего святого — великомученика Никиты.

Итак, в старинных наименованиях Бульварного кольца мы уже обнаруживаем систему: сначала обретала имя радиальная улица, затем замыкающие ее городские ворота; имя не сохранившихся ворот наследовал перекресток на их месте, а по нему назывался прилегающий бульвар.

Большая Никитская улица в первые годы советской власти была названа именем А. И. Герцена, который родился и провел студенческие годы в этих местах. Выходящая к Никитским воротам Малая Никитская улица в 1948 году получила имя народного артиста СССР В. И. Качалова, жившего на ней в доме № 20.

От Никитских ворот начинается самый старый и самый знаменитый из бульваров столицы — *Тверской*. Он примыкает другим своим концом к бывшей Тверской улице (ныне улица Горького) — начальному отрезку дороги из Кремля в Тверь (ныне Калинин) и бывшим Тверским воротам Белого города; на их месте расположена Пушкинская площадь.

На Тверской бульвар выходит улица с характерным историческим названием *Малая Бронная*; рядом с ней *Большая Бронная*. Здесь в XVI—XVII веках располагалась Бронная слобода, в которой жили мастера, изготовлявшие брони и другое металлическое вооружение. Недалеко находится Богословский переулок, в начале которого стоит старинная церковь Иоанна Богослова — памятник зодчества XVII века. Следующий за ним Сытинский переулок носит до нас фамилию богатого домовладельца елизаветинских времен — капитана Измайловского полка Сытина.

Крупнейшая на Бульварном кольце Пушкинская площадь названа так в 1931 году. Старое ее наименование — *Тверские ворота* или *Страстная площадь* — по стоявшему на ней Страстному монастырю. Отсюда же имя примыкающего к ней бульвара. Монастырь назван в честь хранившейся в нем иконы Страстной, то есть страдающей, богородицы.

Пересекающая площадь Тверская улица была названа именем Горького в 1932 году.

Сюда же, к площади, стягиваются еще две «литературные» улицы — *Пушкинская*, названная так к столетию со дня гибели поэта, и *Чехова*, получившая это наименование в связи с 40-летием со дня смерти писателя. Прежние названия улиц — *Большая* и *Малая Дмитровка* — говорят об их направлении на город Дмитров.

В связи с реконструкцией площади сильно укоротился проезд Скворцова-Степанова — так в память известного редактора «Известий» в 1928 году был назван Большой Путинковский переулок (наименование получил по урочищу *Путинки*). Слово *путинки* происходит либо от находившегося поблизости «путевого посольского двора», где останавливались иностранные послы, либо от «путей-дорог» на Тверь и на Дмитров.

Крохотный Нарышкинский проезд (за зданием Агентства печати «Новости») получил название по соседнему скверу (ныне часть Страстного бульвара), который носил фамилию домовладелицы. Этот сквер был разбит в 1872 году на месте Сенной площади (здесь торговали сеном) местной домовладелицей Нарышкиной на ее средства, и городские власти отметили дар тем, что присвоили ему имя дарительницы, оставшееся только за проездом.

Петровские ворота названы по улице *Петровке*, которая в свою очередь именуется по Петровскому или Высокопетровскому монастырю, величавый ансамбль которого до сих пор ее украшает. От Петровских ворот идет Петровский бульвар. На него выходит Крапивенский переулок: здесь было урочище *Крапивники* — глухая местность, поросшая крапивой. С левой стороны бульвара — 3-й Колобовский переулок: в XVII веке в этом месте располагалась стрельечья слобода полка Колобова.

Впереди — новый перекресток кольца с радиальной улицей — Трубная площадь, название со словом *ворота* она никогда не носила, так как ворот здесь не было. Белый город в этом месте пересекала река Неглинная, она проходила через большое отверстие, устроенное в башне; его называли *трубой*, отсюда и наименование площади. Неглинная улица (до 1922 года Неглинный проезд) названа по протекающей под ней в закрытом канале реке Неглинной (Неглинке). Возможно, первичное название реки *Наглинная* — текущая по глинистому руслу, но такое наименование нигде не документировано.

От площади отходит Цветной бульвар, названный так по лавкам, в которых торговали цветами. Сейчас прилагательное *цветной* — производное от слова *цвет*; связанное с цветами мы называем *цветочный*. В старину же и слово *цветной* могло означать «цветочный»: а *цвет* — и ныне в просторечии означает «цветок». *Цветной* в значении «цветочный» сохранилось разве только в названии растения *цветная капуста*.

Неподалеку от площади начинается Трубная улица — бывшая *Дачевка* или *Грачевка*. В древности жили на ней *драчи*, *дравшие* (то есть очищавшие) просо, позднее тут изготовлялись *грачи* — снаряды для мортир.

Вверх по крутому берегу Неглинки был разбит Рождественский бульвар. Назвали его по близкому Рождественскому монастырю, городской крепости, одной из древнейших *сторож* Москвы, построенной еще задолго до Белого города. Идущая мимо него улица Рождественка в 1948 году переименована в улицу Жданова, видного советского государственного и партийного деятеля.

Выше по бульвару — Малый Кисельный переулок. Полагают, что здесь, неподалеку от кладбища Сретенского монастыря, селились кисельники, торговавшие поминальным яством — киселем.

По Сретенскому монастырю названы улица Сретенка и Сретенские ворота (См. Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский, «Зубовский бульвар. Сретенка». — «Русская речь», № 4, 1979).

За Сретенскими воротами — Сретенский бульвар. Справа от него — улица Мархлевского, названная так в 1927 году в память видного польского коммуниста. Раньше это был Милютинский переулок: в XVIII веке здесь находилась шелковая фабрика Милютина, бывшего истопника Петра I.

На Сретенский бульвар выходят Фролов переулок — рядом стояла церковь Флора (в просторечии Фрола) и Лавра, Уланский (назван по домовладельцу дьяку Уланову) и Костянский. Последнее наименование очень интересно: вблизи с давних пор располагалась Мясницкая слобода с бойнями, территория, где складывались кости забитого скота.

Мясницкие ворота и улица названы *Кировскими* в 1935 году, вскоре после того, как здесь прошла траурная процессия с привезенным из Ленинграда прахом выдающегося сына большевистской партии.

С площадью Кировских ворот после реконструкции этого участка по существу слилась Тургеневская площадь, получившая такое название в связи с открытием здесь в 1885 году первой городской народной читальни имени И. С. Тургенева.

Имя следующего бульвара необычно — не *Мясницкий* (такого нет и не было), а *Чистопрудный*. Наличие столь характерного признака, как водоем, заставило отказаться от традиционного названия по ближайшим «воротам» и улице. До 1703 года пруд именовался *Поганым*. Сподвижник Петра I А. Д. Меншиков приказал очистить водоем и назвал его *Чистым*. Однако его называют не *Чистым прудом*, а *Чистыми прудами*, хотя пруд один. Вероятно, это пережиток старомосковского словоупотребления: один пруд могли называть *прудами*, как и поныне про одну дверь можно сказать двери. Тот же случай с московскими *Паприаршими* (ныне *Пионерскими*) прудами, где водоем тоже один.

От Чистопрудного бульвара отходит Телеграфный переулок, до 1924 года *Архангельский* — по церкви Архангела Гавриила, более

известной как *Меншикова башня*. Нынешнее название переулка очень быстро стало архаическим — уже в 1927 году центральный телеграф с *Мясницких ворот* переехал в современное здание, что на улице Горького.

По левую сторону бульвара — Большой Харитоньевский переулок (назван по церкви Харитония в Огородниках), напоминающий московский адрес пушкинской Татьяны Лариной — «у Харитонья в переулке». Тут же провел детство и сам поэт.

Бывший Лобковский переулок, долгие годы хранивший фамилию всеми забытого местного домовладельца Лобкова, с 1961 года именуется улицей Макаренко: тут расположены институты Академии педагогических наук СССР.

Мы подошли к Покровским воротам. *Покровкой* до 1940 года называлась нынешняя улица Чернышевского. Прежнее наименование устоялось еще в XVII веке по стоявшей у Ильинских ворот, в начале улицы, церкви Покрова, снесенной еще два века назад.

За бывшими Покровскими казармами — Казарменный переулок, с середины XIX века до 1922 года именовавшийся *Дегтярным* — здесь жили дегтяри. Переулок выходит в другой — *Подсосенский*. Поскольку деготь чаще всего гнали из сосновой смолы, соседство обоих названий закономерно.

Перед нами *Дурасовский переулок*, названный так по обширному домовладению дворян Дурасовых, частично сохранившемуся с XVIII века.

С правой стороны бульвара — *Большой и Малый Вузовские* переулки. Любопытно, что названия эти были присвоены бывшим *Трехсвятительским переулком* (по церкви Трех святителей вселенских, здание которой недавно восстановлено) в 1922 году как бы авансом — никаких вузов тогда здесь не было; в наименовании отражено стремление широких слоев трудящихся к высшему образованию.

Имя *Подколокольного переулка* объясняется во всех справочниках так: «находившийся под колокольной». Однако никакая колокольня над этим переулком никогда не нависала, да и наименования такого типа (*подбашенный, подстенный* и т. п.), когда речь идет о каком-то сооружении, для русской топонимии нехарактерны. На старинных картах встречается такой вариант названия данного *переулка* — *Подколокольников*. Поэтому более вероятно наименование по прозвищу или фамилии знатного местного домовладельца — Подколокольнику или Подколокольникову (нарицательное *подколокольник* означало «помощник колокольного литейщика»).

Продолжение этого переулка — улица *Обуха*, названная так в 1934 году в честь видного советского медика-большевика В. А. Обу-

ха. До того улица именовалась *Воронцовым полем*. Здесь еще в XIV веке были владения бояр Воронцовых-Вельяминовых.

Рядом по Яузскому бульвару — *Большой и Малый Николоворобинские переулки*, напоминающие о стоявшей здесь с XVII века церкви Николы в Воробине; слобода же *Воробина* получила название по фамилии стрелецкого головы стоявшего здесь полка. Большой Николоворобинский переулок соединяется с *Тессинским*. В литературе последнее название поясняется очень кратко: «по землевладельцу А. М. Тессину». Насколько оживает для нас это имя, когда мы узнаем, что дочь названного Тессина, выходца из Швеции, стала мачехой знаменитого нашего драматурга А. Н. Островского. Эмилия Андреевна много способствовала воспитанию и широкому образованию своего пасынка, для которого годы, прожитые в Тессинском переулке, составили самый плодотворный период его творческой жизни.

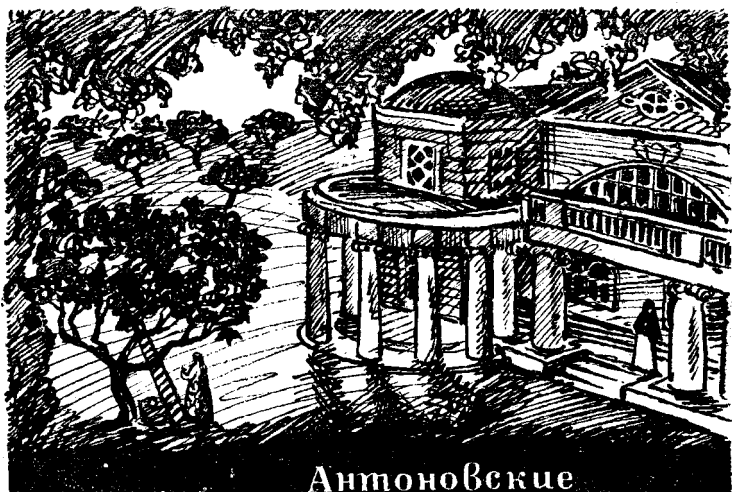
В конце бульвара, на горке красуется нарядная церковь Петра и Павла, архитектурный памятник 1700 года, отчего прилегающий переулок по праву носит название *Петропавловский*.

Справа — *Солянка*, одна из старейших улиц Москвы, получившая свое название по стоявшему на ней Соляному двору — складу соли, торговля которой до второй трети XVIII века была государственной монополией.

Продолжением Солянки служит *Яузская улица*, между ними *Яузские ворота*, прямо же — *Устьинский проезд*, ведущий к Большому и Малому Устьинским мостам. Все эти названия даны по главному притоку Москвы-реки — Яузе и ее устью. Имя реки уходит в глубь столетий, этимология его неясна, большинство исследователей считает, что оно угро-финского происхождения. Не все знают, что московская Яуза имеет «тезку» — к западу от Москвы протекает еще одна Яуза, тоже входящая в бассейн Волги.

Вот мы и закончили нашу небольшую топонимическую экскурсию по Бульварному кольцу столицы. Как видим, топонимия древнейших мест Москвы не только многообразна, но и исторически многослойна: она содержит названия, отражающие весь более чем восьмивековой период существования нашей столицы. Ни одно из этих наименований не случайно: все они характеризуют участки Кольца по какому-то конкретному, нередко давно утраченному признаку,

Ю. А. ФЕДОСЮК
Рисунок С. Гавриловой



Антоновские ЯБЛОКИ

«Ядреная антоновка — к веселому году» — вспоминает народное присловие И. А. Бунин в повести-эпитафии, примечательно названной «Антоновские яблоки». Что же заключено для Бунина в этих словах? Почему избрал он антоновские яблоки своеобразным символом уходящего родного быта, символом земли, где он родился и вырос?

Посмотрим, как истолкован Буниным смысл деревенской приметы о ядреной антоновке: «Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит и хлеб уродился...». Урожай антоновки был сопутствующей приметой урожайного года, и, следовательно, доброй зимы, сытой и веселой.

Словари — энциклопедические и толковые — особо отмечают именно этот сорт яблок. *Антоновка* — «русское яблоко, крупное, одноцветное, желтое, иногда с легким розоватым налетом, с приятным запахом и вкусом. Очень распространенный осенний сорт, хозяйственный и столовый...». И далее: антоновку «можно назвать вполне „народным“ яблоком, имеющим большое значение, как подспорье в крестьянском хозяйстве, доступное для разведения». Это цитировано из первого издания «Большой Советской Энциклопедии».

В последующих изданиях БСЭ найдем весьма интересные уточнения: «*Антоновка* обыкновенная, широко распространенный

старинный русский зимний сорт яблони. Плоды крупные (125—150 г), желтые, иногда с румянцем, винно-кислого вкуса, с присутствием только этому сорту ароматом; потребляются в свежем виде, для мочки, приготовления мармелада и пастилы» (БСЭ, изд. 3-е).

Антоновка имеет варианты названий: *антоновка-каменичка* (менее крупная, но более румяная) или *мичурильская антоновка*, так называемая *полторафунтовая — шестисотграммовая*. Повсеместность распространения антоновки отмечают все справочники, «но главным местом... разведения следует считать наши средние и северо-западные губернии» (Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь, 1890). В БСЭ границы ее распространения очерчены с большей четкостью: *антоновка* — «основной зимний сорт средней полосы РСФСР (Курская, Орловская, Тульская области и др.), БССР, УССР, Прибалтика, Казах.ССР, Киргизск.ССР, распространена также в Польше».

В хорошо известном в прошлом веке и очень ценным издании «Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» В. П. Бурышева (СПб., 1843) представлена еще одна особенность дерева антоновки: оно имеет «свойство расти довольно правильно, кудряво, окладисто и не слишком высоко». Заметим, слово *антоновка* было впервые зафиксировано в этом словаре как профессионализм, специальное слово, связанное с хозяйственным садоводством. И только после этого *антоновка* попадает в лингвистические толковые словари.

Первым таким словарем надо назвать «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (1863). Здесь дано толкование именам *антоновское яблоко* — *антоновка*, но не столько лингвистическое, сколько опять-таки энциклопедическое. Очень интересно, что В. И. Даль отметил в словаре и возможные тогда синонимичные наименования яблока: «*Антоновское яблоко, красноглазовское, духово, восковое...*».

В большом рукописном труде «Изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и отчасти других садах» (8 томов, вторая половина XVIII века) его автор А. Т. Болотов называет более 600 сортов яблонь, распространенных в Тульской губернии, но среди них нет антоновки. Известный московский садовод Н. А. Красноглазов, живший в первой половине XIX века, утверждает, что антоновка была вывезена в Москву из Курска. И действительно, есть большая степень вероятности, что она появилась на курской земле, возможно, от случайного сеянца, получившегося от свободного опыления какого-то культурного сорта и наиболее ценной формы лесной яблони. Примечательно, что лесная яблоня широко распространена в этой области.

В рукописи еще одного известного садовода, знатока и почитателя антоновки Н. М. Михеева «Антоновка — лучший среднерусский сорт яблони» также утверждается, что родиной антоновки является Курская область с ее благоприятными природными условиями. Н. М. Михеев ссылается на свидетельства старожилов. Антоновка появилась в крестьянских садах не позже начала XVIII века.

Любовь к этой яблоне сохраняется и ныне. Не просто любопытное, а полное глубокого смысла, найдем мы свидетельство в очерках В. Пескова «Проселки»: «— Попробуйте. Это антоновка. Подчеркиваю — а н т о н о в к а. Старинный русский сорт. Там, где эти местные яблоки извели, заменили сортами южными, в этом году погорели! Мороз все убил... А вот воргуль и антоновка живы! Почему? Веками притерты к нашему климату, испытаны сами людьми холодами...» — говорит коренной житель рязанских земель «Комсомольская правда», 27 января 1980).

Во всех книгах, посвященных русской помологии (плодоведению, лат. *rosum* — плод, греч. *logos* — понятие, учение, — науке о видах и сортах плодовых деревьев), антоновка выделена как старейший русский сорт народной селекции. Однако широкое распространение она получила лишь в начале XIX века. Как самая первая характерная особенность и примета плодов антоновки называется «сильный, своеобразный эфирно-яблочный... аромат» (Атлас плодов. СПб., 1906).

Так обстоятельства распространения, качества самого плода дали к названию *антоновское яблоко* — *антоновка* ряд синонимов: *красноглазовское* (по имени садовода), *духово* (по запаху), *восковое* (по цвету). Эти синонимичные названия и были отмечены в «Толковом словаре» В. И. Даля. Сосуществование нескольких названий говорит о сравнительно недавней широкой популярности яблони в те времена (первая половина XIX века). Впоследствии закрепилось наименование *антоновка* — *антоновские яблоки*, отмеченное как специальное, профессиональное (см. словарь В. П. Бурнашева) и тем самым выражавшее единство названия, удобное при повсеместном распространении этого сорта яблок.

Происхождение самого имени *антоновка* может быть намечено только в общих чертах. Объяснять его как «яблоко из Антонова» возможно с определенными оговорками. Этимологические словари русского языка ведут это имя от топонимического названия «Антоново» (можно предположить, что от собственного имени владельца-помещика или крестьянина-садовода; ср. многочисленные деревни и села — Алексеевки, Петровки, Родионовки, Семеновки, Сергиевки и т. п.). Однако трудно указать какой-то определенный населенный пункт, хотя в Курской губернии, по данным 1862 года, были зарегистрированы деревня и село Антоновка.

Первоначально (и это подтверждает В. И. Даль) название яблока существовало в виде словосочетаний *антоновское яблоко*, *антоновская яблоня*. Форма прилагательного на *-ское* говорит в пользу топонимического происхождения имени (ср.; *курское*, *орловское*, *московское*). Последовавшее сокращение сочетаний *антоновское яблоко*, *антоновская яблоня* в одно слово (с помощью суффикса *-ка*) — обычное явление в живой языковой практике. Поэтому так легко возникло имя *антоновка*. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова отмечает только слово *антоновка*. 17-томный Словарь фиксирует эту форму как основную. В однотомном «Словаре русского языка» С. И. Ожегова отмечены обе формы наименования популярного яблока: *антоновка* и *антоновские яблоки*.

Следует заметить, что слово *антоновка* вместе с распространением этого сорта яблок было заимствовано украинским, белорусским, польским, словацким языками.

Итак, антоновка — русское яблоко, искони любимое, широко распространенное, связано в первую очередь с курской землей, с крестьянским садоводством. Чем же объяснить особую любовь И. А. Бунина к антоновским яблокам? Родился и вырос он на хуторе Бутырки Орловской губернии, соседней с Курской. Интересно, что в предисловии к тому «Списков населенных мест Российской империи», посвященном Орловской губернии (СПб., 1871), выделена специальная рубрика «Садоводство». Здесь можно получить весьма любопытные сведения: несмотря на неблагоприятные климатические условия, «садоводство, особенно с половины пятидесятых годов, расширяется», а орловское садоводство после Крыма и Курской губернии «едва ли не занимает первое место»; в Орловской губернии «нет ни одной помещичьей усадьбы, при которой не было бы помещичьего сада».

Теперь раскрываем повесть «Антоновские яблоки» (1900) и читаем: «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет...». Воспоминания Бунина наполнены тишиной утра, квохтаньем дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голосами, гулким стуком ссыпаемых в меры и кадушки яблок, а по вечерам «еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев», по яблоням, аллеям скользят тени. Еще ранее Бунин писал: «В саду пахнет „антоновскими“ яблоками... Просто не надышишься!» (Письмо В. В. Пащенко, 14 августа 1891). В одной из редакций повести «Антоновские яблоки» было вступление, а в нем такие строки: «...по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности,— средней

...члосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещичьи усадьбы...».

Бунин признается, что воспоминание о самом дорогом — здоровье, простоте, домовитости деревенской жизни «при запахе антоновских яблок... проступает в новых впечатлениях». С наслаждением вспоминает писатель осенние дни и деревенские угощения, где на первом месте яблоки: «Сперва „дули“, яблоки — антоновские, „бель-барыня“, боровинка, плодовица, — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты и оттуда веет бодрой осенней прохладой...».

Так писатель чутко уловил то, что составляло и составляет одну из прекрасных примет русской осени — антоновские яблоки. Почувствовав, полюбив и опоэтизировав их, Бунин дарит своим читателям поэзию антоновских яблок, которым выпала самая счастливая судьба из всех старинных русских яблок.

А. А. БРАГИНА

Рисунок В. Комарова

Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других, — талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного, — Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекасти-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; воючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой...

А. Твардовский



Когда человек еще учился быть добрым и радушным, верным в любви и дружбе, признательным на чужую доброту, тогда появился обычай дарить подарки — одно из средств воспитания гуманных чувств. В древности человек не скрывал своего желания получать подарки. В «Одиссее» гость обращается к хозяину: «Мы тебя умоляем — нас, бесприютных, к себе дружелюбно принять и подарок дать нам, каким завсегда на прощанье гостей наделяют». Но человек любил не только получать подарки, но одновременно и дарить. Поэтому просьба о подарке заключала уже в себе обещание отдарить своего дарителя, если не сейчас, то в будущем.

В языке русского народа до сих пор существует слово, однокоренное слову *гость* — *гостинец*, то есть подарок гостя (всякого приезжающего) или гостю. «Вещь, предмет, привозимые, приносимые или посылаемые кому в дар, подарок» — так определяется слово *гостинец* в «Словаре современного русского литературного языка».

Задолго до появления в русском языке слова *сувенир* на Руси было и свое слово, обозначающее подарок «на память». Московские князья и цари дарили иностранным императорам, царям, королям, князьям и их послам особые подарки «на воспоминание любви драгой и братству доброхотенья». Эти дары назывались *поминками* (ед. ч. — *поминок*). Поминками могли служить кони, оружие, ткани, соболя, золото и серебро во всех видах — от ювелир-

ных украшений до монет. Поднесение поминков происходило строго по ритуалу, который каждый раз во всех деталях записывался в наказе послам: сначала передать от великого князя поклон, потом «мало посидев, поминки явити».

С иностранными послами и правителями обменивались подарками в древней Руси только сами государи, которые внимательно следили за тем, чтобы их вельможи не сносились ни с кем помимо их, государевой, воли. Поэтому думные дьяки, прочие придворные чины, целовали крест на верность, клялись «носулов и поминков ни у кого ничего не имати». Известны случаи, когда князь Василий Иванович просто забирал в казну серебряные кубки, золотые ожерелья и монеты, полученные его послами в подарок от иностранных государей.

Со временем обмен подарками между представителями различных народов перестал быть привилегией одних правителей. В наши дни знаком международного гостеприимства стал сувенир, который оказался намного демократичнее своего далекого предшественника — поминка.

В настоящее время слово *сувенир* часто можно встретить на страницах газет, на вывесках магазинов, на театральных афишах. Оно прочно вошло в разговорный и литературный язык. Многочисленные предприятия обязаны отчитываться за выполнение плана по выпуску сувениров, пишутся специальные методические руководства по разработке промышленных сувениров. Существует танец «Русский сувенир», в Туле пекут сувенирные пряники.

В русский язык слово *сувенир* пришло из французского, в котором *souvenir* означает «помнить, припомнить, вспомнить, воспоминание, память, напоминание» и, наконец, — «предмет, который напоминает нам о ком-либо или о чем-либо». В последнем значении оно вошло во многие языки: английский, болгарский, немецкий, румынский и др.

У нас слово *сувенир* известно с XVIII века. Так, в 1789 году Екатерина II послала графине Мелин «сувенир с портретом и вензелем» (Дневник А. В. Храповицкого). В конце XVIII — начале XIX века это слово обозначало не только памятную вещь, но и особого рода книжку, «которую носят при себе и в которой находятся таблетки, или пергаментные листки, связанные между собой для записывания чего-нибудь для памяти, карандаш, перочинный ножик и проч.» (Н. Яновский. Новый словотолкователь. Ч. III, 1806). Это значение было известно на протяжении всей первой половины XIX века, хотя постепенно оно вытеснялось другим: «Подарок на память или вещь, связанная с воспоминаниями». Казалось бы, так слово *сувенир* понимается и сегодня. Однако его современное употребление имеет отличия от употребления в

XIX веке. Теперь этим словом чаще всего обозначается вещь, приобретенная в память посещения какого-либо места или в память о каком-либо событии, имеющем общественный характер (юбилее, годовщине, съездах, конференциях, олимпиадах и т. д.). В прошлом *сувениром* называли предмет, напоминающий только о личных взаимоотношениях с каким-либо человеком. Это отличие ясно прослеживается в популярном в конце XIX — начале XX века произведении Н. А. Лейкина «Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно». Купчихе Глафире Семеновне, что такое сувенир, известно. Этим словом она называет найденные в пальто мужа предметы, которые, по ее предположению, подарены ему на память некими «мерзавками». Приехав в Париж, Ивановы закупают огромное количество различных вещей: медаль с изображением Эйфелевой башни, модели Эйфелевой башни, фуражку с вытисненной внутри ее Эйфелевой башней, носовые платки с Эйфелевой башней. Все это в нашем понятии *сувениры*. Но супруги в данном случае нигде не употребляют этого слова, прибегая к описательным высказываниям: «разные мелочи на подарки».

В XIX веке в русских текстах наравне с русским написанием этого слова встречалось и французское. Это свидетельствует о том, что слово еще продолжало восприниматься как иноязычное, не вошедшее окончательно в состав русского языка.

Примечательно, что в русском написании оно употреблялось преимущественно в определенном стилистическом ключе. Вот несколько примеров.

«Ох, эти женщины! — восклицает один из персонажей повести М. Н. Загоскина «Искуситель». — Не могут жить без улий! Письма, колечки, портреты!.. А на что все эти глупые сувениры?.. К чему вся эта дрянь?.. Попадется на глаза мужу, вот беда!».

Рассказывая о модном молодом докторе, от которого пациентки были «без ума», А. И. Герцен в романе «Кто виноват?» с иронией сообщает: «Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы...».

«Пришла старуха капитанша с медальоном — покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей», — говорит ростовщик в рассказе Ф. М. Достоевского «Кроткая».

Обращает на себя внимание одна особенность: во всех примерах (а их количество можно было бы увеличить) *сувенир* имеет сниженную стилистическую окраску. Авторы используют это слово, как правило, в ироническом контексте. Они вкладывают его или в уста комического персонажа, или героя, не владеющего

литературной нормой, или лица, не вызывающего особенных симпатий.

Слово *сувенир*, прошедшее через все XIX столетие, ни разу не встречается в речи «романтического» героя, в рамках «возвышенного» стиля.

Эта стилистическая особенность слова была замечена С. И. Ожеговым, который в первых изданиях «Словаря русского языка» к слову *сувенир* дал помету: «разг. шутл.». В последних изданиях словаря такая помета уже отсутствует, дается только современное определение слову *сувенир*: «1. Подарок на память. 2. Художественное изделие, вещь как память о посещении страны, города и т. п... прил. *сувенирный*, -ая, -ое (ко 2 знач.)». Вероятно, в настоящее время к формулировке второго значения следовало бы прибавить: «как память о событии, юбилее, празднике, съезде, Конгрессе, олимпиаде и т. п.».

Изменение отношения к слову *сувенир* в Словаре Ожегова свидетельствует о тех сдвигах, которые произошли в нашем словоупотреблении. Теперь это слово прочно вошло в литературный язык, не вызывает уже ни улыбки, ни иронии. Но определенный стилистический оттенок остался, и человек со вкусом не всякую вещь, связанную с памятью о ком-либо или о чем-либо, назовет *сувениром*. Не всякий подарок «на добрую память» обозначим мы этим словом. Самые дорогие: от родителей, любимого, единственного друга, те, что нам особенно дороги, сувенирами не назовем.

В. Г. РАДУНСКИЙ
Рисунок Б. Захарова

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Порой в газетах и книгах зарубежных авторов встречаются такие написания: *колледж* и *коллеж*. Какое из них правильное? — спрашивает Н. С. Маргун из Луцка.

Коллédж и *коллэж* — это два слова, которые различаются значением.

Коллédж [англ. college] — высшее или среднее учебное заведение, научное учреждение в Англии, США и некоторых других странах; колледжи часто входят в состав университетов.

Коллэж [фр. collègue] — среднее учебное заведение во Франции, Бельгии, Швейцарии и некоторых других странах.



Значение неизвестного слова определить бывает не легко, поскольку контекст (окружение этого слова) зачастую мало что подсказывает читателю. Например, в VII главе рассказа-были Н. С. Лескова «Владычный суд (Из недавних воспоминаний)» читаем: «Улучив минуту, когда наниматель торговался за какие-то припасы, а сторож зазевался, кравец удрал на другой стодол к знакомому „балагуле“, взял, не торгуясь или посулив щедрую плату, четверку *подчегарых*, легких и быстрых... коней и укатил в Киев...». Если к словам *кравец*, *стодол*, *балагула* мы находим объяснение (*портной*; *постоялый двор*; *извозчик*, *содержатель брик*) в «Примечаниях», то к слову *подчегарый* его нет.

*

В Толковых словарях слова *подчегарый* нет, а приведенная цитата его значение не проясняет. Созвучие с устаревшим обозначением масти *чагравый* «темно-пепельный», приведенным в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» с примером из первоначальной редакции «Мертвых душ» Н. В. Гоголя («— Батюшка, Платон Михалыч едет!..— Верхом на гвемой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну.— Ты думаешь, Алексаша, наш *чагравый* хуже его?»), позволяет предполагать, что в произведении Лескова речь идет о масти коней... ❧

В повести Лескова «Воительница» слову *подчегарый*, судя по

контексту, можно придать значение «быстрый». Малорослая толстуха Домна Платоновна рассказывает, как она не смогла догнать угравившего ее петербургского мазурика: «Бегу, бегу, ажно ножевьки мои стали, а его, злоден, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса *подчегарого*, догнать!». В комментарии прилагательное *подчегарый* не объяснено, но сопоставление употреблений этого слова в повести «Воительница» и рассказе «Владычный суд», где лошади одновременно названы *подчегарыми*, *легкими* и *быстрыми*, все-таки как бы поддерживает предположение о том, что загадочное прилагательное обозначает здесь масть, ведь и Домна Платоновна сочетает его со словом *пёс*, хотя и в переносном значении применительно к человеку.

В рассказе «Железная воля» Н. С. Лесков употребляет другую орфографическую форму этого же самого слова: «...а кропить-то на чердак дьякон Савва полезет. Право, его попросите, он такой *подчегаристый* — всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан с своей утробой на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется». В другом месте текста дьякон Савва назван «жилистым». В «Примечаниях» к этому рассказу читаем: «*Подчегаристый* — худощавый».

Употребление слова *подчегаристый* в рассказе «Железная воля» заставляет вспомнить приведенное в «Толковом словаре» В. И. Даля сочетание *подчигарый человек* кур[ское слово] «поджарый, худощавый, сухой». Конечно, написания *подчегарый* у Н. С. Лескова и *подчигарый* у В. И. Даля относятся к одному и тому же слову с безударным гласным, который невозможно проверить ударением.

Сведения о слове *подчегарый* — *подчигарый* без учета орфографических колебаний и случаев литературного употребления находим в книге А. Ф. Манаенковой «Русско-белорусские языковые отношения. На материале русских говоров Ветки» (Минск, 1978, цитируем с раскрытием сокращений и с сохранением своеобразной транскрипции): «Специфическая семантика свойственна прилагательному *подчигарый*: Ой, тонкий такой, *птьчигарый*; *Птьчигарья* дёвкь — стройнья; *Птьчигарья* — дьк худьщавья, но крёпкья, толька мяса на йей нимá; *Птьчигарья* баба... такой стán, худьщавья, а крёпкья». Словари [«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Опыт областного великорусского словаря» (1852)] считают это слово курским и указывают значение «поджарый, худощавый, сухой», «имеющий тонкие ноги и подтянутый живот, поджарый». Почти все имеющиеся в Фартотеке Словаря русских народных говоров сведения об этом слове относятся тоже к говорам курским; кроме приведенных выше определений значения, там представлены следующие: «под-

жарый, сухощавый, тонкий на длинных ногах», «худощавый, высокий, узкий» (У ихней породе все *подцигарые* да быстрые; Махоточка *подцигарая*, а чугунок разлатый, курбастый); в том же значении приводится *подцигаристый*. С семантикой «поджарый» прилагательное *пачьцигарай* зафиксировано в Мещовском уезде Калужской губернии, *подчегарый* — в Белгородском уезде Курской губернии. Возможно, однокоренным с рассмотренным словом является вологодское название овцы *чигара* (Опыт областного великорусского словаря), образованное от подзывного *чига*. В картотеке Словаря русских народных говоров этот подзывной возглас представлен лишь северными говорами: олонецкими, повгородскими, вологодскими.

*

Интересный материал А. Ф. Манаенковой нуждается в некоторых дополнениях и уточнениях.

Во-первых, неоднократное употребление прилагательного *подчегарый*, *подчегаристый* в произведениях Н. С. Лескова, конечно, говорит о том, что оно, вероятно, было известно и русскому народному языку в соседней с Курской — Орловской губернии, уроженцем которой был Н. С. Лесков.

И действительно, по сведениям Т. В. Бахваловой, в картотеке Орловского областного словаря содержится слово *подцигаристый* «высокий, тощий человек», записанное в Савенкове Мценского района Орловской области. Дальнейшая работа над этим словарем, проводимая Орловским педагогическим институтом, поможет уточнить эти первоначальные сведения.

Во-вторых, предположение А. Ф. Манаенковой о связи курско-орловского южного слова *подчегарый*, *подчегаристый* с северным названием овцы *чигара* и подзывным словом *чига* не может быть убедительным, ибо овца вовсе не считается образцом поджарости и худощавости. К тому же, между областными словами, которые смело сопоставляет А. Ф. Манаенкова, есть значительный территориальный разрыв, который препятствует легкому их сближению.

Происхождение прилагательного *подчегарый*, *подчегаристый* остается не вполне ясным, хотя обращает на себя внимание звуковая и формальная близость слова к известному синониму *поджарый*, *поджаристый*. Можно допустить, что интересующее нас слово является каким-то местным фонетическим видоизменением последнего.

Во всяком случае, написание *подчегарый* у Н. С. Лескова написание *подцигарый* в старых словарях и собраниях русских диалектных слов явно относятся к одному и тому же прилагатель-

ному. Пути к единому написанию слова может подсказать его этимологическое объяснение, но оно пока еще не найдено. При установлении этимологии загадочного слова *подче(и)гарый* следует учесть, что оно широко известно на территории русско-украинского порубежья, где русские говоры тесно взаимодействуют с украинскими. Необходимо также обратить внимание на то, что и синонимичные прилагательному *подче(и)гарый* наименования *сушоцавый*, *поджарый* и северное *жарбый*, *жарáвый* обнаруживают хотя бы внешнюю связь с *жездами сухой — сушить*, *жар — жарить*, обозначающими слова температурного воздействия. Правда, для диалектных слов *жарбый*, *жарáвый* эта связь должна рассматриваться как вторичная. Выделять ли здесь корень *-жес-/-жиз-* с его видоизменением начального согласного или корень *-гар-* после весьма редкой приставки *че-/чи-* (ср. *чекрыжить*, *чихвостить*, диал. *челуснуть* «сильно ударить, луснуть», *чемыркнуть* «опрокинуть рюмку», *чехвал* «хвостун», *чихвалиться*, *чибурда* «певкусная жидкость», *чибуртыхнутья* «с шумом упасть в воду» и т. п.) — это можно будет выяснить лишь после сбора и осмысления более обильного материала, касающегося живого употребления этого слова в русских народных говорах и литературе.

*

В этом ученым могли бы помочь наши читатели, встречавшиеся со словом *подче(и)гарый*.

И. Г. ДОБРОДОМОВ
Рисунок В. Захарова

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Различаются ли между собой слова *нарочно* и *нарочито*?» — спрашивает С. Н. Рябчикова из Кинешмы.

Эти слова различаются значением. *Нарочно* — «с определенным намерением; назло; (разг.) для видимости, не всерьез.» *Нарочито* — «умышленно, с показной подчеркнутостью».



Гриб боровик

«Грибы растут в деревне, а их и в городе знают» — говорит русская пословица. Грибы как растение и кушанье известны нашему народу с древнейших времен. В русском фольклоре им посвящено много пословиц, поговорок, примет и загадок. Например: *Бояться волков — быть без грибов; Человек не грибок — в день не вырастет; Всякий гриб в руки берут, да не всякий гриб в кузов кладут; Ненастье в воскресенье пред масляной — к урожаю грибов; Зимой съел бы грибок, да снег глубокий; Растут, как грибы после дождя; Не поклонясь до земли, и грибка не поднимешь; На бору, на яру стоит старичок, красненький колпачок; Маленький, удаленький сквозь землю прошел, красную шапочку нашел* и другие.

Имеются в русском фольклоре и сказки, посвященные грибам. На основе одной из них, зафиксированной в сборнике «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», А. Толстой написал свою известную, небольшую по объему сказку «Война грибов»:

В старые-стародавние времена царь Горох воевал с грибами.

Гриб-боровик, над грибами полковник, — под дубочком сидючи, на все грибы глядячи, стал приказывать:

— Приходите вы, белянки, ко мне на войну!

Отказались белянки:

— Мы — столбовые дворянки! Не пойдем на войну!

— Приходите, рыжики, ко мне на войну!

Отозвались рыжики:

— Мы — богаты мужики! Не пойдем на войну!

— Приходите вы, волнушки, ко мне на войну!

Отозвались волнушки:

— Мы, волнушки, — старушки! Не пойдем на войну!

— Приходите вы, опенки, ко мне на войну!

Отозвались опенки:

— У нас ноги очень тонки! Не пойдем на войну!

— Приходите, грузди, ко мне на войну!

— Мы, грузди, — ребятушки дружны! Пойдем на войну!

В русском языке существует не только множество наименований для самых разнообразных видов грибов, но и много различных названий для того или иного вида гриба. Так, слово *боровик* является одним из многочисленных названий белого гриба, который растет на всей территории нашей страны в лиственных, хвойных, смешанных лесах с мая по октябрь. Белый гриб используют в пищу в свежем виде (вареном или жареном). Он пригоден для сушки, маринования, засолки, консервирования. Основным способом заготовления белого гриба является сушка. Как отмечается во многих справочниках по грибам, именно этот способ его использования и повлиял на происхождение названия *белый гриб*. *Белым* гриб именуют потому, что при высушивании нижняя поверхность его шляпки остается белой в отличие от грибов других видов, у которых она темнеет. Кроме того, белая мякоть этого гриба не темнеет и при изломе.

Название *белый гриб* является литературным. В народных говорах белый гриб имеет много наименований: в Ярославской области его называют *коровка*, на Среднем Урале — *белоголовник*, *боровик*. Особым разнообразием наименований отличается этот гриб в рязанских говорах: *белый гриб*, *боровый (и буровой) гриб*, *дубовый гриб (и дубовик)*, *желтый гриб (и желтяк)*, *луговой гриб*, *полубелый гриб*, *колосник* (Словарь современного русского народного говора. Под ред. И. А. Оссоветского М., 1969). Интересно отметить, что в этих говорах некоторые названия данного гриба обозначают белый гриб не вообще, а белый гриб определенного возраста, цвета или места произрастания: *колосник* «ранний белый гриб», *желтяк* «старый, но еще съедобный белый гриб», *луговой гриб* «белый гриб, растущий в луговом месте, в низинах» и др.

Исследователь русской народной номенклатуры растений В. А. Меркулова в «Очерках по русской народной номенклатуре растений. Травы. Грибы. Ягоды» (1967) отмечает, что в говорах *белый гриб* «*Boletus edulis* называется: *бабка*, *бебик*, *белоголовник*, *белый гриб*, *боровик*, *вешкарь*, *гриб*, *ковья*, *коровка*, *короватик*,

коровик, коровник, коровьяк, коровяк, медвежник, пан, толкач, цлик, целыш».

Из всех названий белого гриба наиболее распространенным (помимо литературного *белый гриб*) является *боровик*. Это слово известно русскому языку давно. Оно зафиксировано в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (вып. I, 1975) в значении «название некоторых съедобных грибов». *Боровик* «белый гриб» происходит от слова *бор* «сосновый или еловый лес». По-видимому, сочетание *боровой гриб* является первичным, а слово *боровик* — вторичным, более «экономным» вариантом этого сочетания. Ср. параллельные названия: *дубовый гриб* и *дубовик*, *желтый гриб* и *желтяк*, *луговой гриб* и *луговик* и т. п.

В течение длительного времени слово *боровик* было характерно для народных говоров, где оно имело (и сейчас имеет) несколько значений. Например, в «Дополнении к Опыту областного великорусского словаря» (СПб., 1858) *боровик* — «гриб подосиновик», в «Кратком ярославском областном словаре» Г. Г. Мельниченко — просто «гриб», а в «Словаре русских народных говоров» (вып. 3, 1968) — «гриб осиновик», «гриб рыжик», «гриб козляк». Ср.: «Красноголовики [областное название подосиновика. — В. Ф.], чернеющих в разрезе, ярославцы называют *боровиками*. И различают: боровик подберезовый и боровик подосиновый. Слово «боровик» к грибам красноголовикам приросло прочно» (К. Яковлев. Лесные дива.). Известный исследователь белого гриба Б. П. Васильков в монографии «Белый гриб» (1966), отмечая многообразие наименований этого вида гриба в народной речи, говорит о распространенности слова *боровик* и подчеркивает, что его употребляют «во многих районах чаще только по отношению к одной боровой форме; в Верхнем Поволжье так называют осиновик». Об использовании в народных говорах *боровик* для обозначения белого гриба, подберезовика и подосиновика говорит в своих «Очерках» и В. А. Меркулова.

В литературном языке *боровик* употребляется только в значении «белый гриб». В этом значении оно получило уже широкое распространение, особенно в языке газет: «Можно быстро расселять наиболее ценные виды грибов — *боровики*, подосиновики, грузди, рыжики, маслята и другие» («Сельская жизнь», 1 сентября 1977); «Возле двух березок на моховом коврике я заметил первую семейку молодых, нарядившихся в бурые шляпки *боровиков*» («Правда», 28 августа 1976); «Конечно, ядреные шоколадные *боровики*, красноголовики-подосиновики, россыпи рыжих лисичек в сугробах не растут...» («Комсомольская правда», 15 февраля 1978). Употребляется слово *боровик* и в художественной литературе, причем как стилистически равнозначное остальным литературным словам:

«Следом за *боровиком* наступает черед буйному грибу-подосиновнику» (А. Онегов. Карельская тропка); «Белый гриб (*боровик*) растет как в хвойных, так и в лиственных лесах» (В. Солоухин. Третья охота).

Стилистическая квалификация слова *боровик* «белый гриб» в словарях литературного языка различна. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова и в 4-томном академическом «Словаре русского языка» оно помечено как *областное*, а в 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» и в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (Изд. 9-е, 1972) это слово приведено как *литературное*. По-видимому, последняя квалификация является более точной, отражающей действительное положение в настоящее время слова *боровик* в системе литературного языка, где оно употребляется как абсолютный синоним словосочетания *белый гриб* (независимо от места произрастания гриба — в хвойных или лиственных лесах). Ср.: «Белый гриб (боровик), трубчатый гриб... В листь., хвойных и смешанных лесах, гл. обр. Сев. полушария» (Советский энциклопедический словарь. М., 1979).

В. А. ФИЛАТОВ

Рисунок В. Толстоногова

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

«Какое название грибов является литературным: *опята* или *опёнки*?» — спрашивает Т. С. Иванова из Можайска.

Литературным является слово *опёнки*, *опята* — разговорное (Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь трудностей русского языка. М., 1976).



А. Безруков (Москва) пишет: «Слышал, что продаются надувные лодки с транцем. Что такое *транец*?».

Транец [англ. transom] — плоский срез кормы судна. На надувных лодках транец обычно представляет собой закрепленную вертикально на корме доску, к которой можно прикреплять мотор.

ИЗ СЛОВАРЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Продолжение: См.: 1976, №№ 1—6; 1977, №№ 2—6; 1978, №№ 1—6; 1979, №№ 1—5; 1980, №№ 1—4

Тишечкин. Первоначально — отчество, выражаемое притяжательным прилагательным: «чей сын?» — Тишечкин, то есть сын Тишечки; Тишечка — ласкательная (может быть, насмешливая) форма из краткой формы Тиша от канонического мужского имени Тихон (древнегреческое «удачливый»); к русскому прилагательному *тихий* имя не имело никакого отношения. Чаще всего фамилия (с ударением на основе) встречается в Верхнем Поочье — в смежных районах Калужской, Тульской и Орловской областей.

Тобуркин. Фамилия записана в 1897 году — 21 чел. в д. Грихновская Онежского уезда Архангельской губернии. В архангельских говорах *тобуры* — обувь из оленьей кожи.

Тодоров. Отчество от мужского имени Тодор (у западных и южных славян), соответствующего русскому каноническому мужскому имени Феодор.

Толмачев. Отчество от именованья отца по его профессии: *толмач* в Московском государстве означало «переводчик» (заимствовано из тюркских языков). Но в допетровских говорах *толмач* имело совсем иное значение — «бестолко-

вый», эта основа фамилии исключена, но мало вероятно, так как распространенность слова в этом значении была ничтожна по сравнению с основным, общеизвестным.

Толпежников. Отчество от прозвища из русского диалектного слова *толпежник* из *толпега* — бестолковый, грубый (по словарю В. И. Даля), с этим значением слово *толпега* употребляется в орловских говорах; в говорах села Деулино *толпега* — толстый, упитанный. Кроме того, *толпежными* называли волжских бурлаков, работавших всегда только в составе артели; скорее всего, прилагательное *толпежный* означает — «принадлежащий к артели».

Толстобров. Основа фамилии — прилагательное *толстобровый*, *толстый* в прошлом означало в «густой» (например, сохранилось название железнодорожной станции Толстый Лес, близ Чернигова). Фамилия встречается в Архангельске и Туле.

Толстогузов. Первоначально — отчество от прозвища отца — *толстогузый*; корень *-гуз-* сохранился и сейчас в словах *гузка* (зад птицы), *подгузник*. Фамилия записана в Перми (1972).

Толстой. Фамилия удержала старинную форму русских прилагательных с ударением не на основе, а на окончании. В 1383 году из-за рубежа переселился на Русь лиговец Индрос, его правнук Андрей в XV веке вступил на службу к московскому великому князю Василию, который прозвал его *толстым*, это закрепилось за многими ветвями его потомков, среди которых — писатели А. К. Толстой (1817—1875), Л. Н. Толстой (1828—1910), А. Н. Толстой (1883—1945). Кроме единичных аристократических родов (преимущественно на Севере), подобную архаичную форму сохранили лишь немногие фамилии, например: Дикой, Дешевый и другие.

Томашов. Отчество от формы Томаш из канонического мужского имени Фома, которое в западных и южных славянских языках имеет инициальное *T*, а не *Ф*.

Томашевский. Фамилия польского происхождения, первоначально обозначала прибывшего из местечка Томашев или дер. Томашевка.

Томилов. Отчество от русского нецерковного мужского имени Томило (очень распространенного на Руси, особенно в XV—XVI вв.). Наряду с формой *Томило* существовала и форма *Томила* (ср. Гаврил→Гаврило→Гаврила), отчество от которой стало фамилией Томилин. Мнение о том, что фамилия Томилов могла возникнуть от отчества из прозвища *Томило* «капризный», вызывает сомнение из-за широкого распространения ее (в словаре Н. М. Тупикова около сотни примеров). Скорее всего, имя Томило давали новорожденному при трудных родах (так же, как и мужское имя Истома→Истомин),

Топоров. Отчество от русского нецерковного мужского имени Топор (в Новгородских писцовых книгах 1539 года записан холоп Топор). Личное имя могло быть связано с нарицательным *топор* (сравним производное *топорный* «грубый, неумелый» — о плохом изделии), но верней с *топориться* (*топыриться*) — «фортись».

Топтыгин. Фамилия «героя» сатирического стихотворения Н. А. Некрасова «Генерал Топтыгин» не выдумана поэтом. Она встречается и сегодня, например, в городах Пермь, Ярославль. Первоначально *топтыгин* — отчество от прозвища Топтыга из нарицательного *топтыга* — «неуклюжий, тяжелый» (к тому же лексическому гнезду относятся слова *топтать*, *топотать*). Топтыгин стало народной кличкой медведя, приняв иронически-уважительную форму Михайло Потапович Топтыгин.

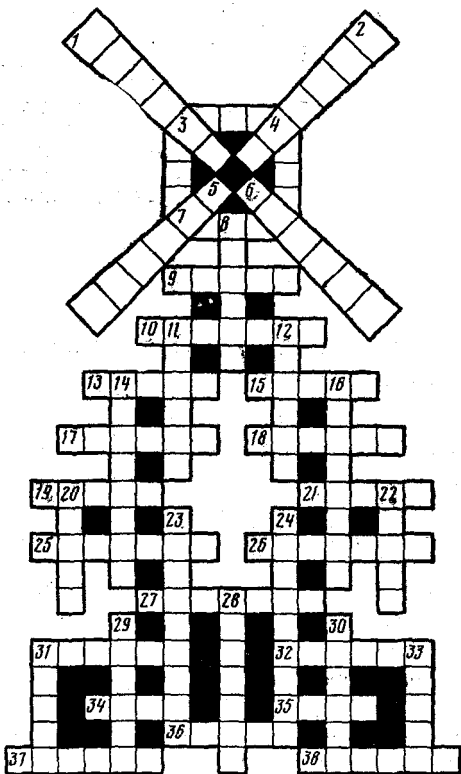
Торицын. Фамилия встречается в Архангельске и Ярославле. В 1897 году записана в Мординской волости Онежского уезда Архангельской губернии. Связана с северным диалектным словом *торица* — сорное растение, семена которого в неурожайные годы шли в пищу.

Торлопов. Фамилия записана в Благовещенской волости Туринского уезда, 1897 г. (ныне это Свердловская область). Там ее носили 130 крестьян. В настоящее время фамилия встречается в Архангельске. В ее основе — архаичное русское слово *торлоп*, означавшее шубу и нарядное платье.

Продолжение следует

В. А. НИКОЛОВ

КРОССВОРД



По горизонтали:
 3. Небольшое литературное произведение.
 7. Персонаж романа Ф. М. Достоевского «Идиот». 9. Действующее лицо пьесы А. П. Чехова «Иванов». 10. Рассказ И. А. Бунина. 13. Богато иллюстрированное издание большого формата. 15. Русский художник и художественный критик, автор иллюстраций к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. 17. Рассказ А. П. Чехова. 18. Рассказ И. С. Тургенева. 19. Рассказ И. А. Бунина. 21. Роман Ю. Бондарева. 25. Древнеримский бог — покровитель искусств. 26. Озеро в Новгородской и Калининской областях РСФСР. 27. Литературный кружок начала XIX века. 31. Небольшое вокальное произведение. 32. Длинная фраза, отрывок речи, произносимые обычно в приподнятом тоне. 34. Настоящее имя французского писателя, известного под псевдонимом Анатоль Франс. 35. Рассказ А. И. Куприна. 36. Печатное издание. 37. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 38. Ударение в слове, а также знак ударения.

По вертикали:
 1. Советский поэт. 2. Русский советский писатель-анималист. 3. Персонаж романа И. А. Гончарова «Обломов». 4. Роман Ю. Н. Тынянова. 5. Речь какой-нибудь социальной группы, отличающаяся от общего языка. 6. Рассказ Н. М. Станюковича. 8. Рассказ И. А. Бунина. 11. Длинный и широкий старинный

плащ. 12. Советский ученый-лексикограф. 14. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 16. Выделение слога, слова силой голоса или повышением тона. 20. Плетеная обувь из лыка. 22. Герой русской народной сказки. 23. Роман Ф. М. Достоевского. 24. Значение, смысл отдельного слова, оборота речи. 28. Слово, противоположное по значению другому слову. 29. Литературное произведение, обличающее отрицательные явления действительности. 30. Стихотворение А. С. Пушкина. 31. Выдающийся русский зодчий, представитель классицизма в русской архитектуре. 33. Старая русская мера длины.



ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

■ ОБЪЕКТ — ОБЪЕКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТНЫЙ, ОБЪЕКТОВЫЙ

Читатель т. Красенков из Ленинграда спрашивает, в каких случаях следует писать прилагательное *объектовый*, а в каких — *объектный*.

Слово *объект* в специальном научном употреблении встречается еще в XVIII веке, хотя в словарях оно регистрируется лишь в начале XIX-го. Одним из первых объясняет его Н. Яновский в «Новом словотолкователе, расположенном по алфавиту»: «Объект, Лат. Предмет». В этом же словаре помещено и прилагательное *объективный* (предметный), которое в то время входило в состав терминологических сочетаний, например: *объективное стекло*. Это словосочетание употреблялось в области оптики: «Объективное стекло называется в зрительной астрономической или земной трубе, также и в сложных микроскопах передовое или предметное» (там же).

Уже в начале XIX века прилагательное *объективный* становится антонимом слова *субъективный*. С середины XIX века *объективный* прочно входит в книжный язык. Его первоначальное терминологическое значение в это время полностью утрачивается.

В современном русском литературном языке, в специальной терминологии прилагательное *объективный* получило широкое распространение. В материалистической философии оно значит «существующий вне человеческого сознания и независимо от него». Это прилагательное употребляется в составе философских, медицинских, правоведческих, лингвистических и других терминов. В работах, относящихся к этим научным областям, можно встретить термины *объективная реальность*, *объективная истина*, *объективные показатели болезни*, *объективное право*, *объективный порядок слов* и др.

Если слово *объективный* возникло в XVIII веке, то *объективный* и *объектовый* являются неологизмами XX века. Слово *объективный* было образовано в 20—30-х годах в профессиональной среде и употреблялось в терминологии философских наук. Одним из первых прилагательное *объективный* зарегистрировал «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова с пометой «философское».

Существительное *объект* тогда было известно в трех значениях. Два из них употребляли специалисты. Философы объектом называли то, что существует вне нас и независимо от нас, внешний мир. У языковедов слово *объект* было синонимом термина *дополнение*. Новое прилагательное *объективный* получает распространение и в лингвистической терминологии. В работах по языкознанию начинают широко употребляться термины *объектное дополнение*, *объективный инфинитив*, *объективный падеж*, *объектное сказуемое*, *объективный творительный* и др. Эти термины вводятся в словари лингвистических терминов.

У существительного *объект* было известно еще одно значение — «предмет, то внешнее, на что направлена деятельность человека». От слова *объект* в этом значении в 40-х годах образуется прилагательное *объектовый*, которое впервые включено в 3-е издание «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1952); с этого времени оно вводится во все последующие издания.

Слово *объектовый* относится пока к узкопрофессиональной сфере употребления. Оно известно преимущественно специалистам некоторых отраслей науки, техники, военного дела. В специальной литературе можно встретить такие сочетания: *объектовые работы*, *объектовые учения*, *объектовые планы* и т. п. В последнем издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова прилагательное *объектовый* имеет лексикографическую помету «специальное», что указывает на ограниченную область употребления этого слова.

Таким образом, в современном русском языке для каждого значения слова *объект* имеется свое прилагательное.

В. Н. Сергеев
Ленинград

■ КОВАН(Н)ЫЙ, ЖЕВАН(Н)ЫЙ

Учитель В. Б. Бражников из Славянска-на-Кубани Краснодарского края в своем письме в редакцию журнала «Русская речь» пишет: «Раздел правописания суффиксов прилагательных, образованных из причастий, является, несомненно, одним из трудных разделов грамматики русского языка, и, вероятно, многие учащиеся

допускают в этом отношении частые ошибки. Тем более досадным является то обстоятельство, что найти правильные ответы на некоторые вопросы этого раздела еще более трудно». И далее автор письма задает конкретный и вполне справедливый вопрос: как писать слова *кован(н)ый*, *жеван(н)ый*, если в учебнике русского языка для 5—6-х классов (авторы М. Т. Баранов, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова) на странице 257 они представлены в виде исключения из группы причастий, оканчивающихся на *-ованный*, *-еванный*.

Причастия с этими суффиксами всегда пишутся с двумя *-н*. Данные в качестве исключений *жеванный* и *кованный*, таким образом, должны писаться с одним *н*. Однако орфографические и школьные словари, начиная с 1957 года, дают эти слова в двойном написании: *кованный* (прич.), *кованый* (прил.); *жеванный* (прич.), *жеваный* (прил.). Как же на самом деле писать эти слова?

Орфографической нормой, своего рода орфографическим эталоном, служащим основанием для современных учебников и всех словарей, являются «Правила русской орфографии и пунктуации» (М., 1956). В них интересующее нас правило сформулировано следующим образом: «§ 63. Двойное *н* пишется во всех прилагательных, образовавшихся из страдательных причастий прошедшего времени (или по их типу), если эти прилагательные имеют приставки, либо оканчиваются на *-ованный*, *-еванный* (кроме *жеванный* и *кованный*)». Больше о словах *жеван(н)ый* и *кован(н)ый* в «Правилах» ничего не говорится; их нет и в примерах, иллюстрирующих процитированный параграф. В словаре, напечатанном в конце «Правил», они даны с одним *н* и со ссылкой на § 63.

Итак, в «Правилах» о данных словах говорится только: «кроме *жеванный* и *кованный*». Это «кроме» воспринималось как исключение из правила о написании причастий с двойным *н*. Поэтому слова *кованный* и *жеванный* рассматривались как пишущиеся всегда с одним *н*.

Когда спрашиваешь учителей, много лет преподающих в школе русский язык, как писать слова *кован(н)ый* и *жеван(н)ый*, обычно слышишь в ответ: «Это исключения, они всегда пишутся с одним *н*». Очевидно, именно так было понято правило и составителями учебника русского языка, о котором говорилось. Основание для подобного истолкования дает неточная формулировка этого правила.

Однако авторы «Правил» понимали слова «кроме *жеванный* и *кованный*» иначе. Обратимся к словарям, которые вышли вслед за «Правилами» 1956 года и были их первыми орфографическими интерпретаторами. Это «Орфографический словарь русского языка» (под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро. М., 1956) и словарь-

справочник «Русское литературное произношение и ударение» (под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. М., 1959). Названные словари дают двойное написание: *жеванный* (прич.), *жеваный* (прил.); *кованный* (прич.), *кованый* (прил.). Иными словами, авторы «Правил» 1956 года и авторы этих словарей (а ими были одни и те же лица — А. Б. Шапиро, С. И. Ожегов, а также С. Е. Крючков, составивший школьный Орфографический словарь) считали, что слова *кован(н)ый*, *жеван(н)ый* должны писаться не как исключение из группы причастий на *-ованный*, *-еванный* — только с одним *н*, а как все прочие страдательные причастия прошедшего времени: с двумя *н*, если имеют пояснительные слова или приставки, с одним *н* — при отсутствии пояснительных слов или приставок.

В соответствии с этим в словарях даются: *окованный*, *подкованный*, *перекованный*, *прожеванный*, *пережеванный* и т. п.; следовало также писать: *кованная* кузнецом лошадь и *кованый* сундук, тщательно *жеванная* пища и *жеванное* платье и т. п., так же как, по «Правилам» 1956 года, следует: *раненный* в голову солдат и *раненый* боец; *жаренная* на сковороде рыба и *жареная* рыба.

Л. П. Калакуцкая

■ САРДИНЫ ИЗ СЕЛЬДИ ИВАСИ

В. К. Шалаев из Саратова пишет: «Купил в магазине консервы „Сардины из сельди иваси“. Можно ли так говорить *сардины из сельди иваси*, *сардины из карася*? Не получается ли: *баранина из телятины?*».

Сардина — небольшая (18—20 см) рыбка из семейства сельдевых. Под условным названием *сардины* объединены три рода этого семейства: собственно сардина, сардинелла и сардинопс. Именуется так рыба по названию острова Сардиния, в прибрежных водах которого она добывается. Эту рыбу ловят также у берегов Англии, Франции, Испании, Португалии и в других местах.

Но консервированные сардины изготавливаются не только из одноименной рыбы. Так же как названия *шпроты*, *килька*, наименование *сардины* стало обозначением рецептуры, способа приготовления. Консервируются небольшие сельдевые рыбки (атлантическая и тихоокеанская сардина, салака, килька балтийская и каспийская) в виде подсушенных («сардины в масле») и копченых («шпроты в масле») тушек.

В нашей стране при производстве консервов часто используется сельдь иваси, которую еще называют дальневосточной сардиной. «Сардины» получают и из скумбрии. На этикетках обычно

указывается, из какой рыбы приготавливаются консервы: «Сардины из сельди иваси», «Скумбрия дальневосточная в масле типа сардин».

Вот еще примеры подобных превращений. Листья чайного куста для приготовления напитка высушиваются, измельчаются, а затем завариваются кипятком. Полученный напиток называется чаем. Но таким же способом можно заготавливать и заваривать листья, например, куста смородины и пить *смородиновый чай*.

Плоды кофейного дерева дали название напитку «кофе», а вслед за тем появился продукт «кофе из ячменя».

Можно найти немало аналогичных явлений, когда наименования растений, животных переходили на определенный способ приготовления или использования, а затем стали указывать на конечный продукт или результат обработки.

М. А. Еремина

■ СЕВАЧ, СЕЯТЕЛЬ ИЛИ СЕЯЛЬЩИК?

Читатель С. Гайко, сообщая в журнал, что свердловское областное радиовещание несколько раз удивило слушателей словом *севач* (*севачи вовремя закончили посевную кампанию*), спрашивает: «Существует ли такое слово или его придумали журналисты? По аналогии вспоминаются мало приятные слова: такие, как *трепач, первач, рвач, палач* и под. А разве плохо звучит: *севец, сеяльщик, сеятель?*».

Слово *севач* не придумано журналистами. Оно существует в народно-диалектной речи.

По данным областных словарей, *севач* фиксируется в разных говорах русского языка; в говорах уральской зоны также. При этом имеется в виду не только сеятель с лукошком, вручную разбрасывающий семена и тем самым как бы связанный с единоличным землепользованием (ср. *сеяли раньше из лукошка: севач по полю ходит и раскидывает зерна*), но человек, работающий на сеялке, то есть в условиях коллективной обработки земли (*с сеялкой ехал севач*) [Словарь говоров Соликамского района Пермской области. 1973]. Подобное словопотребление встречается и в говорах Свердловской области.

По словообразовательной структуре *севач* — производное существительное от диалектного приставочного глагола *севать*, существующего как многократная форма рядом с *сеять*. Словарь В. Даля дает обе формы, при этом не указывает локального ограничения у *севать*. В литературном языке последняя основа легко обнаруживается в таких однокоренных приставочных образованиях, как *засевать, насевать, обсевать, подсевать, пересевать* и под.

Словообразовательное гнездо от глаголов *сеять* — *севать* в русском языке в целом очень обширно. Показания же народных говоров интересны тем, что в них до наших дней сохраняются не только образования от основы *сей-*: *сеять*, *сеятель*, *сеялка*, *сеяльник* — „лук, выросший из семян“ — (обск.), *сеячник* то же (яросл.), *сеянка* — „мука самого низкого помола“ (новсиб.), *сеяница* — „корытце для просеивания муки“ (сиб.), но и слова от основы *сев-*: *севать* „сеять“, *севба* „посев“ (смол., урал., донск., новсиб.), *севак* „сеятель“ (*не стало теперь хороших севаков*) (калин.), *севач* — то же (урал., перм., заурал.), *севщик*, *севильник*, *севальщик* — то же (донск.), *севаха*, *севалка*, *севальник*, *севальня*, *севало*, *севака* — „лукошко, из которого сеяли вручную“ (обск., прибалт., новсиб., моск.), *севальный мешок* — *севалень* — „мешок с зерном при ручном севе“ (донск.).

Пахать, сеять, поливать, вывозить на поле удобрения, убирать урожай — это обязательные и поэтому традиционные занятия земледельца в деревне. Широкая механизация сельскохозяйственного производства, свойственная нашему времени, значительно облегчила труд в поле, но основной сущности этих извечных процессов не изменила.

Язык, и прежде всего его лексико-фразеологический фонд, с неизменной чуткостью отражает это положение вещей. Новые слова и словосочетания сельскохозяйственной сферы, которых появилось очень много в последние десятилетия, не служат помехой для существования многих старых слов. Традиционное содержание их осовременивается, обрастает новыми деталями, но в то же время сохраняет свой изначальный смысл. Это относится и к значению глагола *сеять* и его производных.

Как видно из приведенного материала, глаголы *сеять* — *севать* в народном языке „богаты“ производными словами. Обозначения здесь связаны и с самим названием действия (глагольная и отглагольная лексика), и наименованием лиц, осуществляющих сев, орудий труда, необходимых при этом, и того, что высевается в землю.

Из множества однокоренных синонимов для наименования лица — деятеля, осуществляющего сев, литературный язык отобрал несколько. Большой академический «Словарь современного русского литературного языка» фиксирует *севак*, *севальщик*, *севец*, *сеятель*, *сеяльщик*, строго при этом регламентируя их распределение по стилевым сферам. Слово *сеятель* снабжено пометой «в высокой, торжественно-риторической речи» — ср. у Пушкина: *свободы сеятель пустынный*; *севак*, *севальщик* — областные слова; нейтрально-номинативные *севец* и *сеяльщик*, в последнем отмечаются два значения: 1. «Сельскохозяйственный рабочий, занимающийся по-

севом семян» и 2. «Рабочий, занятый просеиванием чего-либо» — *сеяльщик гравия*. Хронологически, если судить по цитатному материалу, иллюстрирующему применение синонимов *севец* и *сеяльщик*, употребление в литературном языке слова *севец* связывается больше с XIX веком („*Бывают уже известные севцы, которые так умеют засеять, что рядом совсем незаметно*“.— Гоголь. Выдержка из карманных записных книжек), *сеяльщик* — с нашей современностью.

Краткий анализ словарных сведений о нейтральном наименовании работника сельского хозяйства, занятого севом, показывает, что в литературном языке на этот счет нет однозначности и единства. Близки к этому и данные специализированных сельскохозяйственных справочников. В «Восьмизычном сельскохозяйственном словаре» (1970), где собраны термины и номенклатура для восьми европейских языков и русского в их числе, показаны три однокоренные термина: *сеяльщик, севец, сеятель*.

Проникновению диалектных эквивалентных слов в язык местной прессы, радио, телевидения способствуют «узаконенные» нормализующими пособиями словообразовательные синонимы для названия работника, занятого севом. **стилевые** и хронологические ограничения, которыми сопровождается использование этих слов в литературном языке, описательные конструкции с тем же значением (ср. *механизаторы Ставрополя вышли с сеялками на поля*).

Какое же все-таки слово из представленного здесь ряда надо выбрать, если встанет необходимость назвать в нейтрально-стилевом контексте работника, который сеет семена в землю? По нашему мнению, таким словом должно быть *сеяльщик*, не *севач*. В прессе и по радио в последнее время его стали все чаще и чаще употреблять, нередко рядом со словом *пахарь*, также заметно активизировавшимся в наши дни. Ср. «*Больше чем тысячу человек подготавливают курсы пахарей и сеяльщиков в этом году на Вологодчине*».

Что же касается отрицательных ассоциаций по отношению к нежелательному для тов. С. Гайко слову *севач*, созвучному с *трепач, рвач, палач*, то, действительно, в слова со значением лица малопродуктивный суффикс *-ач* вносит определенный заряд экспрессии. И этот рифмующийся ряд можно было бы продолжить подобными же отрицательными словами: *ловчач, трючач, рифмач* и др. Лишь отдельные лексемы с суффиксом *-ач* нейтральны в своем стилевом наполнении: *скрипач, ткач, трубач*. В словах же с предметно-вещественным значением этой экспрессии меньше, ср. *пугач* — „пистолет“, *тыгач, качач, кедрач, пихтач* — „лес кедр, пихта“; в говорах же таких нейтрально-стилистических слов с суфф. *-ач* можно встретить еще больше: *горбач* — „старинная детская одежда“, *долгач* — „длинные нераспиленные остатки дерева, пред-

назначенные для дров“, *звездач* — „звездное небо“, *мендач* — „лес с крупнослойной мягкой древесиной“, *прач* — „рогатка, праща“ и под. (примеры взяты из областных словарей говоров Среднего Приобья).

Т. С. Коготкова

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 4—80 г.

По горизонтали:

3. «Лес». 4. «Рим». 5. «Мцыри». 6. Эстет. 7. Каперна. 9. Лонгрен. 11. Загоскин. 13. Метафора. 15. Фонетика. 17. Тригорин. 18. Кирсанов. 20. «Варяг». 22. Гуманизм. 24. Паводок. 25. Алогизм. 26. «Альбом». 27. «Левша». 28. Азбука.

По вертикали:

1. Безыменский. 2. Пиктография. 8. Наина. 10. Орест. 12. Гремин. 14. Омоним. 16. «Секрет». 18. «Кража». 19. «Вадим». 20. Вукол. 21. Глава. 22. «Гроза». 23. «Маска».

*При перепечатке ссылка на журнал
«Русская речь» обязательна*

Редакционная коллегия:

Н. С. ВАЛГИНА, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, К. В. ГОРШКОВА, В. П. ДАНИЛЕНКО, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Ф. П. ФИЛИН

Зав. редакцией *Т. С. Колмакова*

Художественный редактор *Т. А. Михайлова*

Корректоры *В. В. Беллев, Г. Н. Шамина*

Сдано в набор 12.06.1980

Подписано к печати 12.08.1980

Т-12734

Формат бумаги 84×108/32. Печать высокая, Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 10,2

Бум. — 2,5 Тираж 60 000. Заказ 3193

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10